ВЛ. ЛИДИН·ДРУЗЬЯ МОИ-КНИГИ



ВЛ. ЛИДИН

ДРУЗЬЯ МОИ КНИГИ

ИСКУССТВО 1962

ВЛ. ЛИДИН

ДРУЗЬЯ МОИ — КНИГИ

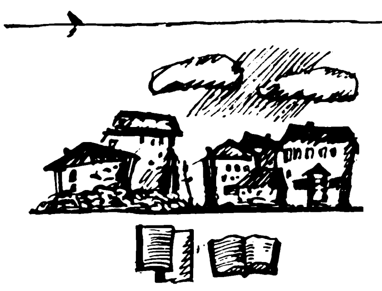
ЗАМЕТКИ КНИГОЛЮБА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИСКУССТВО
МОСКВА · 1962

Оформление
Л. Б. ПОДОЛЬСКОГО

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ



Много раз друзья книги побуждали меня: напишите о книгах, напишите об этом сложном и увлекательном мире; напишите о встречах с книгами — иногда таинственными, как самые необычные приключения, иногда простодушными, когда неожиданно книга, которую искал годами, сама дается в руки, словно никогда ее и не искал; напишите, наконец, о том, что лежит в основе собирательства книг, как приходит к человеку эта любовь, что она приносит ему и что требует взамен.

Что ж, может быть, это и правильно: следует написать о своих давних друзьях — книгах, не с тем, чтобы дать какие-либо библиографические сведения о них: для этого существуют специальные справочники, украшенные именами В. Сопикова, Г. Геннади, И. Остроглазова, наконец, отличная книга недавно умершего Н. Смирнова-Сокольского «Рассказы о книгах». Я расскажу просто о встречах с книгами — моих личных встречах, иногда радовавших, иногда разочаровывавших, но всегда в той или иной степени приоткрывавших многое, о чем не знает ни один библиограф в мире, потому что это т в о я личная встреча, то есть так или иначе неповторимая. Надо рассказать и о том, как рождается страсть к собиранию книг, рассказать о людях, влюбленных в книгу, о книжных редкостях не в библиографическом понимании, а редкостях именно для меня в силу глубоких, сердечных бесед или длительной дружбы с той или другой книгой, которая в ряде случаев может быть уподоблена живому собеседнику. Конечно, если пишешь о книге, надо рассказать и о чувстве, какое она порождает: чувство это испытали все, кому знакомо собирательство, — это очень тонкая, очень глубокая любовь, и странно, иногда кажется, что чело-

век, который любит книгу, встречает и ее ответную любовь.

Несколько лет назад у Центрального телеграфа в Москве я встретил старого человека с необычайно живыми молодыми глазами, с чернейшими густыми бровями, хотя он был уже совсем сед. Мы внимательно посмотрели друг на друга, прошли мимо, и я вдруг обернулся и окликнул:

— Александр Александрович! — Человек остановился.— Узнаете меня? — спросил я подойдя. Он узнал меня, и мы после многих десятилетий снова пожали друг другу руку.

На Кузнецком мосту в Москве в годы моего детства существовал книжный магазин «Образование». Я был в ту пору школьником четвертого или пятого класса и приходил в этот магазин с несколькими заветными рублями купить какую-либо новую книгу: очередной сборник «Знания», или только что начавший выходить альманах издательства «Шиповник», или таинственный сборник в зеленой обложке «Ссыльным и заключенным», повествовавший о судьбе целого поколения, попранного царским произволом, или брошюрки издательства «Донская речь» Парамонова с таинственными титлами: «Эрфуртская программа», «Нищета философии» или «Пауки и мухи». Парамоновские брошюры стоили по 3—5 копеек, и среди них были и «Соколинец» В. Короленко, и «Разрушенный мол» Гершуни, и «Петька на даче» Леонида Андреева, и «В пути» Вересаева...

За прилавком книжного магазина «Образование» стоял глубоко сочувствовавший юным любителям книги невысокий, с черными курчавыми волосами, с живыми умными глазами человек — его звали Александр Александрович Шухгальтер: впоследствии, в наше время, он заведовал ряд лет книжным отделом Дома ученых в Москве.

— Милый вы мой,— сказал старик, сжимая мою руку при встрече на улице Огарева, возле Центрального телеграфа,— конечно, я помню вас. Я помню, как вы приходили школьником, и всегда радовался, что есть такие подростки, которые любят книгу.

Александр Александрович Шухгальтер, ныне покойный, был не только покровителем юных книголюбов. Он стоял во главе одного из самых серьезных демократических книжных магазинов, именно «Образования», распространявших революционные книги, особенно в ту пору, когда

мутная реакция после 1905 года заполняла книжный рынок сочинениями Вербицкой и Нагродской, сборниками с мрачными названиями вроде «Самоубийство» и замаскированной под научные книги порнографией «Холодность женщин», «Мир половых страстей» или пресловутый «Половой вопрос» Фореля...

— Как,— спросил меня Александр Александрович в эту встречу после многих десятилетий,— дружите попрежнему с книгами или изменили им?

— Дружу,— сказал я.— Дружу, и во многом обязан вам, что дружу. Ведь именно вы еще с моего отрочества побуждали меня к этой дружбе.

Нам следовало присесть, чтобы вспомнить прошлое, но присесть было негде, и мы стали вспоминать на ходу это прошлое. Мы вспомнили книжную Москву поры моего детства.

Напротив книжного магазина «Образование» на Кузнецком мосту помещалась на втором этаже книготорговля и библиотека Тастевена, преемника прославленного книжника— француза Ф. Готье. Готье снабжал Москву теми знаменитыми желтыми томиками изданий Гашетта или Фламмариона в Париже, которые и поныне представляют новинки французской литературы. Племянник владельца магазина, Генрих Эдмундович Тастевен, был поэтом и философом; кроме того, он преподавал в Лазаревском институте восточных языков французский язык и был в то же время секретарем одного из самых модных и эстетских журналов того времени «Золотое руно». Я хочу говорить о людях, которые учили меня любить книгу. Это не только дань их памяти, но и напоминание о том, как важно прививать с детства эту чистую и возвышенную любовь, определяющую дальнейшее культурное развитие молодого сознания.

Редакция журнала «Золотое руно» помещалась на Новинском бульваре. На круглом столе в приемной стояли в ряд цветные сифоны с разными водами; на стене висел знаменитый незаконченный портрет Валерия Брюсова работы Врубеля и полотна Сомова, Петрова-Водкина, Судейкина и Сапунова. У одной из стен стояла пианола, на которой в вечерние часы разыгрывал торжественные баховские фуги Генрих Эдмундович Тастевен. Он был невысокого роста, с маленькими французскими усиками, чрезвычайно вежливый и чрезвычайно стеснительный; он любил

музыку и стихи, перевел на русский язык «Судный день» Пшибышевского и сам втайне писал стихи.

В эти вечерние часы, когда я благоговейно перелистывал номера «Золотого руна» с прокладками для иллюстраций из тончайшей японской бумаги, а Тастевен играл на пианоле, в редакции появлялся иногда высокий стремительный человек с крашеной бородой, оформленной как совок для угля, это был редактор-издатель Николай Павлович Рябушинский. За два года до этого он разъезжал по Москве на автомобиле — желтом открытом Пежо; теперь братья учредили над ним опеку, и автомобиль сменился лихачом «дутиком»,— так называлась тогда пролетка на дутых резиновых шинах — новинка начала века.

Тастевен побудил нас, школьников седьмого класса, издавать ученический печатный журнал «Первые опыты» и финансировал из своих скудных средств два вышедших номера. Журнал печатался в лучшей типографии И. Н. Кушнерева на превосходной бумаге, даже с цветными иллюстрациями одного из школьников — Льва Зака, ставшего ныне известным французским художником. Я ощутил величие книги, когда вез на извозчике из типографии в магазин «Образование» пачки только-что отпечатанного журнала, это осуществленное чудо, превратившее в печатное слово наши ученические рукописи. Александр Александрович Шухгальтер был восприемником этого детища. Вот к каким далеким временам относится познание мной книги и первые увлечения ею!

— Учитесь уважать книгу,— поучал меня Тастевен.— Помните, что книгу создает человек, и, уважая книгу, вы тем самым уважаете и человека.

Чуть пониже книготорговли и библиотеки Тастевена на Кузнецком мосту находился благонравно-степенный магазин Д. И. Тихомирова, известного педагога, со строгими книгами по воспитанию, а еще пониже был магазин М. О. Вольфа, имя которого было связано для нас с любезными отрочеству журналом «Задушевное слово», серией книжек «Золотой библиотеки» и непомерными фолиантами «Живописной России». Но могущественнее всех других магазинов был на Неглинной улице магазин А. С. Суворина,— собственно, не магазин, а целый вокзал, откуда суворинские издания отправлялись по всем дорогам страны, вплоть до самых маленьких железнодорожных станций,



А. А. Шухгальтер

где повсюду распоряжалось книгами монополизированное Сувориным контрагентство печати.

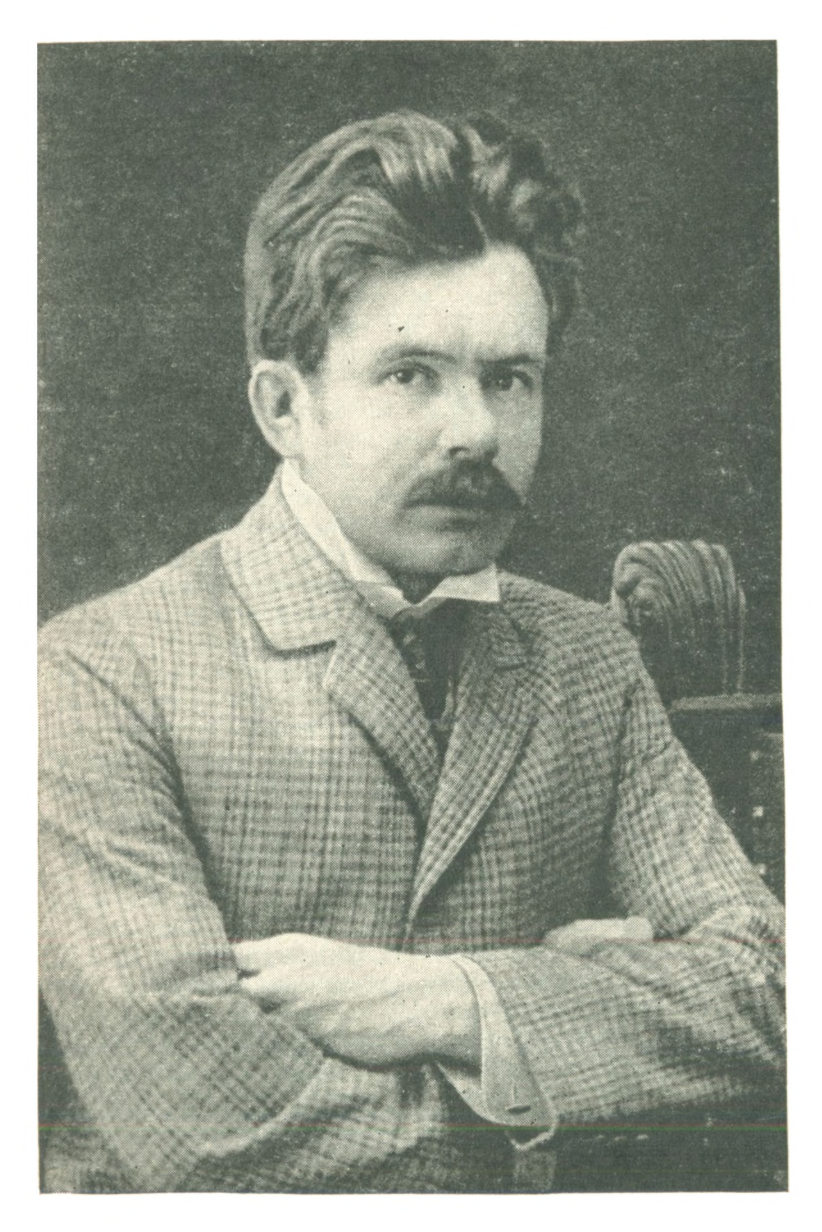
Но подлинной улицей книги была, конечно, Моховая, на которой один за другим тянулись букинистические магазины, вернее, лавчонки, а еще вернее — полутемные логова, и, чем темнее было логово, тем обширнее были его книжные богатства. Не раз, проходя по Никольской улице, останавливался я в созерцании витрин загадочно-молчаливого магазина Шибанова: за чистейше протертыми стеклами было обычно выставлено всего несколько сверкающих золотом книг, как эталоны книжного богатства магазина. Я тогда еще не знал, что значат велен или марокен; не знал я, конечно, и самого Шибанова. Я узнал его тогда, когда порядком искусился в книголюбии, но Шибанов был уже стар, на закате; впрочем, о Шибанове я расскажу особо.

Так, на углу улиц Огарева и Горького вспомнили мы с Александром Александровичем Шухгальтером и книжную Москву поры моего детства и первые опыты — литературные и книжные.

— Что ж,— сказал Александр Александрович,— приятно, что в свою пору я поощрял вашу охоту к книге... конечно, я не мог предполагать, что вы со временем станете писателем, но вы были так юны тогда и так любили книгу, что я всегда старался что-нибудь припрятать для вас.

Десятилетия, разделявшие нас, отошли куда-то в сторону, я увидел Шухгальтера с копной черных волос, распространяющим, возможно, и нелегальные издания,— может быть, штутгартовские или женевские издания Ленина — а он, наверно, видел меня в ученической курточке.

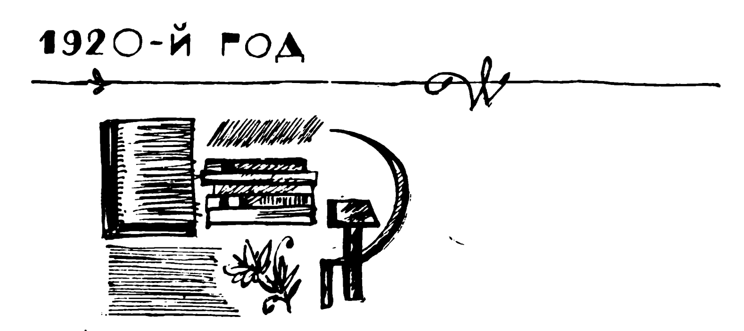
Любовь к книге прививается с детства. В доме должны быть книги, они освещают жилище. Книге предназначено быть спутником человека. У меня есть книги, сохранившиеся еще с поры моего раннего детства, это мои поверенные, сердечные друзья, мои наставники. Книжный шкаф в комнате — это не просто собрание книг, пусть даже отлично изданных, это то, с чем живешь, что учит и ведет за собой. Ведь даже в гости приглашаешь именно тех, с кем испытываешь потребность общения; а что толку, если вокруг будет полно людей, с которыми и говорить не о чем. Книги, как и друзей, надо избирать глубоко, по душевной склонности, памятуя, что именно книге свойственно осо-



Г. Э. Тастевен.

бое постоянство: любимая книга никогда не изменит и вернется именно в ту минуту, когда человек особенно нуждается в поддержке.

1920-Й ГОД



У меня сохранились два редчайших номера журнала под странным названием — «Содрупис». Отпечатаны они на машинке, вышли в количестве трех экземпляров, с иллюстрациями от руки. Название несколько пародирует сокращения, бытовавшие в двадцатых годах: «Содружество писателей».

Я беру в руки эти единственно уцелевшие экземпляры, и передо мной возникает книжная Москва первых лет революции... В Леонтьевском переулке, ныне улице Станиславского, в маленьком помещении, где находилась впоследствии редакция журнала «Знамя», писатели впервые стали за книжный прилавок. Времена были трудные, бумаги не хватало, но не только бытовые условия, а и потребность быть близко к книге дали жизнь одному из самых примечательных начинаний: книжным лавкам писателей. Первая такая лавка, открывшаяся в Леонтьевском переулке, и носила название «Книжная лавка писателей». За ее прилавок встали образованнейший литературовед, переводчик и исследователь творчества Бальзака — Б. А. Грифцов, страстный, горьковского образца, почитатель книги писатель Александр Яковлев и еще несколько других литераторов, в том числе писатель Борис Зайцев.

В каком-нибудь книжном собрании хранится и поныне, наверно, целая библиотечка рукописных книг, выпускавшихся писателями в одном-двух экземплярах, зачастую с авторскими иллюстрациями. Я вспоминаю «Похвалу березовым дровам», написанную на бересте, ее автором

был М. А. Осоргин; рукописные сборники стихов Ф. Сологуба, Андрея Белого, К. Липскерова, А. Глобы; книжки с аппликациями, загадочными картинками и не одну рукописную поделку А. Ремизова, к чему он был склонен всегда с его знанием рукописных книг семнадцатого или восемнадцатого века, украшенных киноварными буквицами и росчерками. Я жалею, что не сохранил этих рукописных книжечек первых лет революции, хотя многие из них были у меня в руках. В музее книги, который когда-нибудь будет основан в Москве, можно было бы выставить одну из таких книжечек с тиражом в два экземпляра рядом с современной книгой, которой уже тесно иногда и в полумиллионном тираже.

Но тогда эти книжечки выходили. Тогда в Леонтьевском переулке была Книжная лавка писателей, а на Тверской, рядом с Московским Советом,— книжная лавка «Содружество писателей», за прилавком которой стояли подслеповатый профессор-литературовед Ю. И. Айхенвальд, философ Г. Г. Шпет и пишущий эти строки. Мы стояли в шубах и шапках, потому что помещение не отапливалось, а за нашими спинами теснились на полках до потолка книжные сокровища — все, что революция вытрясла из помещичьих усадеб или великокняжеских дворцов в Петрограде. Мы переворачивали страницы, дуя на них, потому что книги были каляными от холода; мы познавали прелесть общения с книгой, этим знаменосцем культуры, возвещавшим уже в те времена, когда только начали ликвидировать неграмотность, рождение нового читателя.

На Большой Никитской, ныне улице Герцена, помещалась Книжная лавка работников искусств, за прилавком которой стояли искусствоведы Р. Виппер и П. Эттингер, а на Арбате в Книжной лавке поэтов— Сергей Есенин, беспомощный и неприспособленный к этому делу; впрочем, ему помогали весьма расторопные поэты-имажинисты. За прилавком другой книжной лавки на Арбате величественно высился Валерий Брюсов, на Моховой сутулился Н. Д. Телешов, в книжной лавке «Природа» скромно стоял профессор Н. К. Кольцов, в книжной лавке «Школа и знание» — педагог Н. В. Тулупов.

По временам в лавку «Содружество писателей» приходили Есенин с поэтами А. Мариенгофом или В. Шершеневичем; в руках у них были тоненькие книжки стихов, издан-







Экслибрисы книжных лавок писателей

ные ими самими и распространявшиеся ими же. У меня хранится «Исповедь хулигана» Есенина с его надписью, сделанной застывшей от холода рукой именно в этой книжной лавке. Мы мерзли за прилавком, но испытывали радость от близости к книгам. Я был к ним близок еще и потому, что работал в комиссии, разбиравшей накопленные книжные сокровища в национализированных букинистических магазинах. Со свечой в бутылке, ибо не было света, в подвалах с лопнувшими от мороза радиаторами отопления и полузалитыми водой, разбирали мы книги, многие из которых пополнили книжные хранилища библиотек имени В. И. Ленина и Коммунистической академии... Известный книговед, составитель книги «Крылатые слова» Николай Сергеевич Ашукин, покойный литератор Владимир Павлович Ютанов, писатель А. А. Триппатов и я — мы выходили после рабочего дня на зимние холодные улицы Москвы, по которым жители волокли на салазках топливо и у продовольственных магазинов стояли очереди, мы выходили ослепленные книгами, побывавшими у нас за день в руках, хранившимися иногда в тайниках. Мы разворошили владения Гобсека, где оказались — был такой случай — «Евгений Онегин» с личными поправками Пушкина, экземпляр «Жития Ушакова» Радищева, редчайшие эльзевиры, первопечатные книги Ивана Федорова, Андроника Невежи, братства Успенской церкви во Львове...

Мы учились ценить книгу, мы учились любить ее, и этих первых уроков в голодные, трудные дни революции я никогда не забуду: я узнал биографии множества книг, биографии столь же поучительные, как и биографии отдельных выдающихся деятелей.

Маленькая комнатка позади книжной лавки «Содружество писателей» служила и складом и своего рода писательским клубом: я помню за овальным столом и писателей старшего поколения — Андрея Белого или Федора Сологуба, и скромных, еще безвестных в ту пору А. С. Неверова и Ф. В. Гладкова, и смуглого, несколько восточного облика, поэта Костантина Липскерова, и красивого, с пасторским лицом писателя Георгия Чулкова, и совсем простодушного, когда он появлялся один, Сергея Есенина, и вечно торопящегося куда-то, всегда всюду запаздывавшего Андрея Соболя... Кто только не побывал за этим столом, в кругу книг и с обязательным самоваром, ретиво

раздуваемым издателем Г. Б. Городецким, который ведал торговыми делами лавки!..

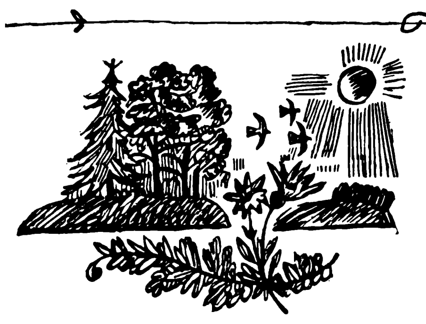
Несколько книг, приобретенных в ту пору, имеют свою историю. Проходя как-то по Пречистенке, ныне улице Кропоткина, я увидел на приступочке подъезда одного из домов сельского попика самого канонического вида: в соломенной шляпе, с красным носиком в прожилках и даже с ленточкой в косичке. Перед попиком стояла раскрытая бельевая корзина, в ней были книги. Книги были прекрасные, в сафьяне и марокене, с золотым тиснением и большими инициалами на крышках: «Н. ф. М.». Я купил тогда у попика изумительного Некрасова издания 1869 года и еще более изумительные три тома «Сто русских литераторов» издания Смирдина в зеленых с золотом шагреневых переплетах. Откуда к попику попали книги из библиотеки богача и собирателя Н. фон-Мекка? Но кто тогда знал, откуда и как появляются на свет божий книги? Впрочем, на мой вопрос, откуда у него эти богатства, попик наставительно ответил:

— Бог послал.

Собирая книги — теперь уже много лет,— я и поныне дивлюсь иногда, как попала ко мне та или другая книга, и радуюсь, что она сохранилась у меня, прочно вошла в собрание и тем самым спасена. Так составилась у меня коллекция первых изданий книг Чехова и его современников, с которыми он дружил или был в переписке; об этом я расскажу особо.



ПЕРВАЯ КНИГА



Однажды, еще совсем юным, я зашел в некое книжное капище на Никольской улице. Капище это было сумрачное, с проулками в глубину, сплошь заставленными книгами, и нельзя было даже представить себе, что владелец знает, где и что у него находится. Высокий, весь какой-то размашистый и неистовый по виду человек стоял у конторки. Покупатель в моем лице показался ему явно нестоящим, и он даже не повернул голову в мою сторону.

Незадолго до этого писатель Павел Сергеевич Сухотин, ныне покойный, страстно влюбленный в пушкинскую эпоху, подарил мне маленький томик стихов К. Н. Батюшкова. Я тогда еще ничего не знал о смирдинских изданиях, но когда я узнал, что Смирдин издал целую библиотеку лучших русских поэтов девятнадцатого века, мне захотелось присоединить к томику стихотворений Батюшкова и томики стихотворений Лермонтова, Державина, Дельвига...

— Нет ли у вас чего-нибудь в издании Смирдина? — спросил я человека, стоявшего за конторкой.

Он критически посмотрел на меня, однако то, что юнец спрашивает смирдинские издания, видимо, его заинтересовало: у него было сердце букиниста, чувствительное к таким вещам.

— Лермонтова хотите? — спросил он отрывисто и, полуобернувшись, почти не глядя, достал с полки книгу тем жестом, который означал, что владелец наизусть знает, где и что у него находится.

Это был известный московский букинист и ходовой делец Кирилл Николаев, а книга, которую он достал с полки, оказалась переплетенной в один том четырьмя частя-

ми посмертного, 1842—1844 годов, издания стихотворений Лермонтова; переплет из марокена зеленого цвета с разбросанными золотыми листочками заставил меня притаить дыхание.

— Пять рублей,— сказал Николаев.

У меня было всего пять рублей.

— Уступите за три,— попросил я.

— Пять рублей,— повторил он неумолимо.— Подбираете Смирдина, сами должны понимать, что это за экземпляр.

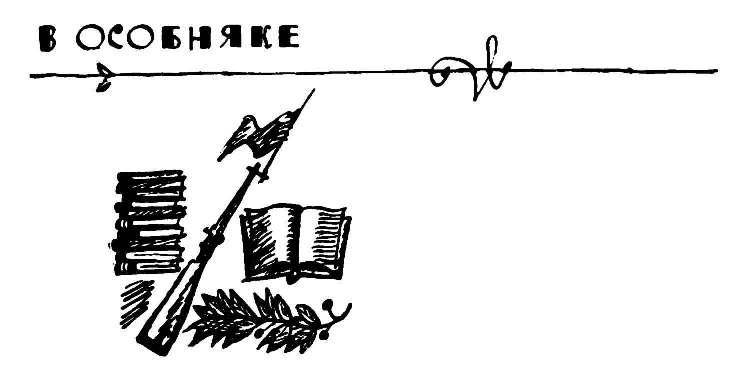
Он не уступил ни копейки, и я отдал ему единственные пять рублей. Издание было, правда, не Смирдина, а Глазунова, но я и поныне радуюсь, что не смалодушествовал тогда и не пожалел пяти рублей. Именно этот томик Лермонтова и возглавил мое собирательство не только смирдинских изданий, он как бы посвятил меня в тайну собирательства, в которой ничего нет тайного, а нужны только любовь и некоторое самоотречение. Когда собираешь книги, то во многом приходится себе отказывать, но и это составляет прелесть собирательства. Существуют просто купленные за большие деньги библиотеки: у человека было много денег, и он купил сразу много книг. Это не собирательство, это покупка; кстати, истинные книжники не уважают таких покупателей. Собирают книги по зернышку, много лет, выискивая и радуясь находкам, принося книгу домой как обретенное сокровище, при этом без малейшего чувства собственничества или стяжательства. Напротив, с чувством удовлетворения, что делаешь общее дело, что твое собрание попадет когда-нибудь в общественное хранилище, что капля твоего меда будет в этом улье, а за пыльцой приходилось далеко летать, иногда не легко летать, иногда зря летать, потому что она так и не досталась.

Несколько лет назад отмечалось 100-летие со дня смерти А. Ф. Смирдина. На большом вечере, посвященном его памяти, я встретился с правнучкой Смирдина — Зинаидой Сергеевной Смирдиной-Малянтович. Она радовалась, что имя ее прадеда, ценимого Пушкиным и умершего почти в нищете, не забыто. В память об этом вечере, где мне привелось выступить со словом о Смирдине, Зинаида Сергеевна подарила мне выращенный ею куст гортензии, сказав при этом:

— Пусть у вас цветет куст Смирдина.

Я посадил этот куст в саду на даче, куст Смирдина цветет каждое лето, и, глядя на него, я неизменно вспоминаю литой, с золотым обрезом томик Лермонтова, похожий на родоначальника моей библиотеки. Это очень тесная дружба с книгой, почти привязанность, и, когда я читаю, что умирающий Пушкин обратился к своим книгам со словами: «Прощайте, друзья мои», я слышу и молчаливый ответ его книг.

В ОСОБНЯКЕ



В 1920 году найти особняк, из которого еще в первые дни революции бежали владельцы, было делом нетрудным. Осенью, переходя из летних лагерей на Ходынке в зимнее помещение, штаб пехотной дивизии, в котором тогда я служил младшим письмоводителем, занял один из таких особняков.

Особняк был в готическом стиле, со стрельчатыми высокими окнами нетопленного огромного зала, служившего, видимо, столовой. Птицы на плафонах, некогда напоминавшие, что лучшим украшением стола является дичь, воскрыляли теперь над расставленными столами с арматурными списками и красными папками, разбухшими от подшитых дел. Моим товарищем по должности, тоже в нехитром звании младшего письмоводителя, был тощий мечтательный человек по фамилии Васькин. До поступления в красноармейскую часть он работал в театральной библиотеке Рассохина переписчиком ролей. Его серые близорукие глаза обычно были обращены мечтательно к окнам, за которыми стояли облетающие каштаны, губы, повторявшие слова какой-нибудь переписанной роли, шевелились.

Комиссар штаба Черных, любивший дисциплину и точность, относился к Васькину критически. Книжка, по-школьнически засунутая в папку с подшитыми делами, была явным нарушением порядка; кроме того, письмоводитель не справлялся с подшивкой бумаг, и его пересадили за арматурные списки. Но он напутал и здесь с количеством выданного белья, и его наметили к откомандированию в строевую часть.

В четыре часа дня занятия в штабе кончались, и Васькин остался раз на очередное дежурство. Особняк был мрачный, с черными жерлами нетопленных каминов, и только фризы с гирляндами несущихся нимф смягчали вялую желтизну цветных витражей, едва пропускавших свет в высоких окнах.

Еще с утра поломанная мебель и доски настила от разбираемой во дворе конюшни были заготовлены возле одного из каминов. Васькин растопил камин, вскипятил воду в жестяном чайнике и к вечеру, когда телефонные звонки стали редки, пошел бродить по комнатам особняка. В будуаре с жиденькими креслицами, которые трещали на докладах под могучими телами военных, помещался кабинет начальника штаба. Венецианское зеркало в стеклянных розочках и завитках отражало под углом рабочий стол с приказами по дивизии и карту Польского фронта на стене. В бывшей детской расположились топографы, и здесь уже обжито пахло краской шапирографа. Наступали холода, и к печам было подвалено все, что могло пойти на топливо, в том числе старые журналы и целое плоскогорье истерзанных книг, найденных где-то в подвале. Книги были в большинстве без конца и начала, с перепутанными листами, повиснувшими на нитках брошюровки.

Васькин, просиживавший целыми днями в театральной библиотеке Рассохина, перед книгами благоговел. Он взобрался на вершину этого книжного плоскогорья и, чихая от пыли, стал подбирать разрозненные тома сочинений классиков. Может быть, на миг блеснули перед ним неистовый монолог Тимона Афинского в одном из томов Шекспира или знакомая реплика Несчастливцева в книжке пьес Островского, но Васькин забыл о том, что он дежурный по штабу.

Комиссар штаба дивизии Черных обычно проверял ночное дежурство. Он появился в особняке во втором ча-

су ночи, длинный, бесшумный и, как всегда, в любой час дня или ночи готовый к действию. Дежурного на месте не оказалось. Камин в огромной зале прогорел, и дотлевала последняя головешка в голубых ребринах. Черных поспешно прошел через залу и толкнул дверь в коридор. На полу, среди груды раскиданных книг, сидел Васькин.

— Дежурный! — сказал Черных знакомым, обычно ужасавшим письмоводителя голосом.— Почему вы не на месте? Что вы делаете здесь?

Васькин ничего не смог ответить и только протянул ему одну из книг. Черных быстро, как привык просматривать донесения, прочел название книги.

— Откуда здесь книги? — спросил он удивленно.

— Жгут. Сегодня повар книгами плиту истопил,— ответил Васькин.

Черных был недавно студентом Политехнического института, и в его сейфе вместе с секретными документами лежали «Основы неорганической химии». Он откинул полы длинной кавалерийской шинели и присел на груду книг рядом с Васькиным.

— Вот тут, в этой пачке, Лев Толстой и Островский,— пояснил Васькин,— я их по томикам подобрал, полный комплект. А вот эти на других языках, может быть, поглядите?

Он стал подавать Черныху книги, и тот прочитывал название и откладывал иностранные книги в сторону.

— Я, товарищ комиссар, так думаю,— говорил Васькин между тем,— конечно, сейчас, может быть, не до книг. Но ведь придет время, когда каждая книжка понадобится. А телефон я отсюда слышу, так что я на дежурстве.

Утром начальник штаба Григорьев, человек исполнительный и приходивший на занятия обычно раньше других, дежурного на месте не застал. Он приоткрыл дверь в коридор и увидел на полу возле печки комиссара штаба и дежурного письмоводителя, сидевших к нему спиной.

— Куда же вы Гоголя кладете?.. Ведь классики слева, я вам указал,— сказал Васькин недовольно.

Комиссар вздохнул и покорно переложил книжку.

Несколько лет назад ко мне пришел высокий худой человек с палевыми волосами, какие бывают у седых блондинов.

— Прочитал в одной из газет вашу статейку о книгах и по старой памяти хочу преподнести вам презент,— сказал он.— Вы меня, конечно, не помните. Моя фамилия Васькин. Мы с вами вместе служили в штабе пехотной дивизии годков тому назад, прямо скажем, порядочно.

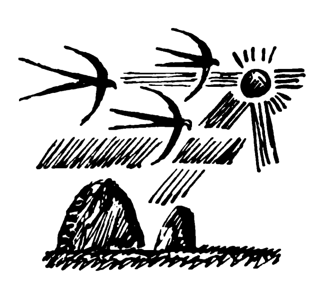
Он порылся в портфеле старинного образца с металлическими углами и достал книжку, оказавшуюся первым изданием «Гайдамаков» Шевченко 1841 года, с экслибрисом, который сразу воскресил в моей памяти многое: такие экслибрисы я встречал впоследствии не раз и всегда вспоминал при этом далекий 1920 год и трогательную, хотя и несколько ироническую историю, связанную с одной из спасенных библиотек.

— Я эту книжку нашел у себя совсем недавно,—сказал Васькин.— Сейчас я на пенсии, а работал все время корректором в типографии. Из вашей статейки я понял, что вы стали книголюбом, и решил в память былых отношений преподнести вам именно эту книгу. Дело в том, что я тогда до смерти увлекался Шевченко и взял эту книжку почитать, чтобы потом вернуть. А тут пошли всякие события, дивизию отправили на польский фронт, меня откомандировали, и книжка осталась у меня. Поставьте ее к себе на полку, пусть она напоминает вам, что мы с вами в свое время послужили книге, когда мало кто о ней заботился, а вот теперь даже книги о книгах выходят. Напишите о нашем знакомстве в двадцатом году и как мы с вами вместе спасали библиотеку.

Я выполнил пожелание Васькина и записал все, как было. По существу, это апология книге, и можно ничего не добавлять. А томик «Гайдамаков» Шевченко, стоящий ныне у меня на полке, обрел еще дополнительную биографию.



ДРУЗЬЯ МОИ – КНИГИ



Есть книги, с которыми ждешь встречи десятилетиями. Это не библиофильская страсть и не одно лишь желание пополнить свое собрание. Это своего рода заочная влюбленность в книгу, судьбу которой знаешь, история которой тебе близка и встреча с которой представляется подлинной радостью. Радость книголюба всегда добрая и достойная уважения, ибо в ее основе лежит глубокая вера в назначение книги.

Однажды в маленьком городке Одоеве Тульской области я остановился в воскресный день на базаре возле какой-то старушки, перед которой лежало на разостланной ряднинке несколько потрепанных книжек. Две из них оказались разрозненными томиками сочинений Шеллера-Михайлова в приложении к журналу «Нива», остальные были учебниками; но среди учебников я увидел узкую продолговатую книжечку, похожую скорее на брошюрку, в лиловатой, выцветшей от времени обложке. Я купил эту книжечку, вернее — схватил ее, уплатив старушке чуть ли не втрое больше, чем она просила: я нашел книжку, с которой ждал встречи десятилетиями.

Удивительны судьбы первых изданий некоторых русских поэтов. Впервые четыре стихотворения А. В. Кольцова были напечатаны в 1830 году случайным знакомцем поэта В. Сухачевым в книжке под названием «Листки из записной книжки Василия Сухачева». История этих присвоенных Сухачевым стихотворений Кольцова увлекательно рассказана Ю. Г. Оксманом в его исследовании «А. В. Кольцов и тайное «общество независимых».

Но в 1835 году вышла первая книжка стихов и самого Кольцова, горячо привеченная Белинским, чрезвычайно

быстро разошедшаяся, да и напечатанная, наверно, в ничтожно малом количестве экземпляров. Много лет я искал встречи с этой книжкой Кольцова. Книги всегда так или иначе несут на себе отблеск писательской судьбы. Отбирая стихотворения Кольцова для этой первой его книжки, Н. В. Станкевич, одна из самых светлых личностей в русской литературе, материально способствовал выходу книжки. Белинский хотел в предисловии упомянуть о материальной поддержке Станкевича, но в письме от 31 июля 1835 года получил от него суровую отповедь:

«Я писал к тебе в дом Чудиной и письмо мое верно тебя не застало там. Оно содержало в себе строжайший выговор за распоряжение о Кольцове и поручение вырезать позорную страницу. Нельзя ли исполнить этого хоть теперь».

Книжка стихотворений Кольцова вышла без всякого предисловия. Но она заключает в себе не только след первых шагов поэта в литературе, но и след высокой, целомудренной деятельности Станкевича и Белинского, помогавших Кольцову, выдвигавших его, пожелав при этом остаться в неизвестности. Только одиннадцать лет спустя, уже после смерти поэта, вышло второе издание стихотворений Кольцова — со статьей Белинского о его жизни и творчестве...

Я бережно привез из Одоева столь случайно найденную книжку, и мне, естественно, захотелось присоединить к ней и второе издание стихотворений Кольцова, выпущенное Н. Некрасовым и Н. Прокоповичем со вступительной статьей Белинского, захотелось разыскать и редкие брошюрки о друге Кольцова А. Сребрянском, оказавшим влияние на его творчество, а к этому присоединились впоследствии и Полное собрание сочинений Кольцова, изданное Академией наук в 1911 году, и томик малой серии «Библиотеки поэта», выпускаемой в наши дни.

Конечно, не обязательно иметь в своей библиотеке все издания того или другого поэта, тем более прижизненные, но деятельность писателей отражена все-таки в их книгах, и эта живая летопись помогает нам не только глубже познать судьбу писателя, но и расширяет наше представление о литературе.

Сияние пушкинской славы не затмило других поэтов его времени. Напротив, имя Пушкина в ряде случаев выдвинуло эти имена, и голоса многих поэтов звучат и поныне именно потому, что рядом с ними был Пушкин. Год за

годом росло на моих книжных полках собрание стихов поэтов пушкинской поры, к ним закономерно присоединилось и последующее поколение поэтов от Некрасова с его современниками — Тютчевым, Фетом, Полонским, Плещеевым — до Блока и Брюсова и далее до наших дней. Так, рядом с прижизненными изданиями русских поэтов стоят у меня на полке томики «Библиотеки поэта», основанной М. Горьким, и, глядя на эти книги, обретшие миллионы читателей, нельзя не вспомнить кое-что из прошлого.

Первая книжка стихов Аполлона Григорьева была выпущена в 1846 году в количестве 50 экземпляров, а первая книжка стихов Ф. Тютчева представляла собой приложение к одному из номеров журнала «Современник» за 1854 год. Первый сборник стихов Н. Некрасова «Мечты и звуки» (1840) был уничтожен автором как не удовлетворявший его; по той же причине были уничтожены И. Лажечниковым «Первые опыты в прозе и стихах» (1817) и А. Фетом его первая книжка «Лирический пантеон», вышедшая в 1840 году... Можно ли не вспомнить судьбы этих книг, когда томики «Библиотеки поэта» выходят пятидесятитысячным тиражом, причем книги многих поэтов давно уже распроданы, и молодые книголюбы жадно ищут их для пополнения своих собраний.

Они стоят на моих книжных полках, поэты от Ломоносова и Тредьяковского до наших дней, я дорожу дружбой с ними, мне помогает жить их глубокая поэтическая мысль. С особым чувством открываю я и маленькую книжечку стихотворений М. Лермонтова, вышедшую в 1840 году, с типографской рамочкой на каждой странице, скромную заявку на великое будущее поэта. С таким же чувством открываю я и книжку Е. Баратынского «Наложница», на обороте титула которой напечатано: «Все экземпляры сей книги, не подписанные мною, суть поддельные, и продаватели оных будут преследуемы по законам», и за этим следует собственноручная подпись поэта. Перелистывая прижизненные издания А. Полежаева «Кальян» или «Эрпели и Чир-Юрт», перелистываешь как бы и страницы его жизни, такой короткой, оборванной жестокой рукой Николая I.

Но есть, однако, у некоторых книг и их авторов и последующие удивительные судьбы. В томик стихотворений Дениса Давыдова, изданный в 1832 году, я вклеил как-то

ЛИРИЧЕСКІЙ

ПАНТЕОНЪ.

А. Ф.

Si tu pouvais jamais égaler, ô ma lyre!
Le doux frémissement des ailes du zéphire
A travers les rameaux

Ou l'onde qui murmure en caressant ses rives,
Ou le roucoulement des colombes plaintives
Jouant aux bords des eaux.

Lamartine.

МОСКВА.

Въ Типографіи С. Селивановскаго.

1840.

Титульный лист
первого издания стихотворений А. Фета

такую газетную заметку: «Ульяновск. В селе Верхняя Маза, Радищевского района, где жил последние годы поэт, партизан Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов, состоялось собрание колхозников, посвященное его памяти. По предложению кузнеца Алексея Нюсинова собрание решило присвоить колхозу имя поэта-партизана».

К томику стихов А. Дельвига, изданному в 1829 году, я приложил в свое время такое письмо, напечатанное в газете: «Один из талантливых поэтов 19-го века, друг А. С. Пушкина, Антон Антонович Дельвиг был поклонником русского народного творчества. Наша молодежь знает и любит его песни «Не осенний мелкий дождичек», «Соловей, мой соловей»... Мы предлагаем издать сочинения А. А. Дельвига массовым тиражом и притом в ближайшее время»,— заключает работник завода имени Лихачева И. Коротин.

А к книжке Тараса Шевченко «Кобзарь», выпущенной «коштом Платона Семеренка» в 1860 году, я приложил газетную вырезку с рассказом о старой ветвистой вербе, посаженной поэтом в городском саду Александровского форта (ныне Форт Шевченко) на полуострове Мангышлак, и о том, что каждый колхоз вокруг, разбивая новый сад, берет от шевченковской вербы веточку...

Так разрастается поэтическая история некоторых книг. Жители Калинина сетуют на то, что до сих пор не установлена мемориальная доска на доме основоположника русского исторического романа И. И. Лажечникова, сетуют книголюбы и на то, что в Ленинграде нет мемориальной доски на доме, где помещалась книжная лавка А. Ф. Смирдина, а одна из читательниц настоятельно требует привести в порядок могилу А. П. Керн близ Торжка,— ведь именно Керн посвятил Пушкин стихотворение «Я помню чудное мгновенье», положенное на музыку Глинкой.

Хорошие книги никогда не умирают. Они живут и в первых изданиях — пусть их собирают книголюбы, они живут и в современных изданиях, которые собирает широкий круг новых читателей, плененных и музыкой стиха, и историей жизни замечательных людей, и судьбами изобретателей и умельцев, и мужественной русской прозой, покорившей мир со времен «Повестей Белкина» Пушкина, «Героя нашего времени» Лермонтова, «Мертвых душ» Гоголя, «Записок охотника» Тургенева, «Войны и мира» Льва Толстого, рассказов Чехова...

Повесть о редких изданиях не уходит непременно в прошлое; повесть эта пишется каждый день, ибо многие издания, какие соберет молодой книголюб сегодня, станут со временем редкостью, голосом эпохи, свидетелями ее дел. Номера газет с сообщениями о запуске первого искусственного спутника Земли стали уже редкостью, станут редкостью и номера газет с сообщениями о запуске ракеты на Луну. Время идет, движется, с ним вместе движется и летопись времени — книги: одни становятся вечными, никогда не стареющими спутниками новых и новых поколений читателей; другие не остаются в широком обиходе, но и они не уходят совсем, а прочерчивают свой след в звездном небе литературы. Астрономы с одинаковым вниманием относятся и к крупным светилам и к звездам третьей или пятой величины, ибо без звездной осыпи не было бы и звездного мира.

ГЛУБОКИЕ БЕСЕДЫ



С книгами, которые стоят на моих книжных полках, у меня душевная внутренняя связь. Я знаю судьбу и историю почти каждой из них, и мне кажется, что, когда я беру в руки ту или другую книгу, она тоже знает меня, и нам ничего не нужно объяснять друг другу.

В самом начале революции старый московский букинист Константин Захарович Никитин, о котором даже написана книжечка, поднялся ко мне, задыхаясь от эмфиземы легких, на четвертый этаж с тяжелой пачкой книг; в пачке оказался Толковый словарь русского языка Даля.

— Хочу, чтобы этот словарь остался у вас,— сказал мне Никитин.— Вам он пригодится... может быть, помянете добром старого книжника.

Никитин вскоре умер, а словарь Даля и поныне стоит у меня в книжном шкафу, и, наверно, тысячи раз помянул я добром старого книжника. Пользуясь словарем Даля, я никогда не забываю, что словарь этот предназначен лишь для изучения языка, а не для выискивания народных словечек, которыми иногда хочет блеснуть литератор. Не забываю я и о том, что В. И. Ленин, боровшийся за чистоту русского языка, высоко ценил словарь Даля, предупреждая вместе с тем, что это словарь областного языка. И вот, когда собираешь вместе все эти сведения и размышления, то словарь Даля лично для меня расширяется и становится связанным не только с судьбой его создателя или с памятью о старом книжнике Никитине, но и со всеми теми изменениями строя русской речи и новыми словами и понятиями, какие принесла с собой Октябрьская революция. Вместе с тем всегда раздумываешь, что́ значит целеустремленный, упорный труд, каким был, например, труд В. И. Даля по собиранию русского словесного жемчуга. Мало кто помнит рассказы и повести казака В. Луганского, и сам Даль, писавший под этим псевдонимом, несомненно понимал, что его, Даля, сила не в художественной прозе, а в создании единственного в своем роде путеводителя по русской речи, которому дано будет победить время; и он победил время, навсегда оставшись спутником каждого из нас.

Поэтому, когда я беру в руки тот или другой том словаря Даля, у меня нет ощущения, что он нужен мне только для справок; мне кажется, что мы беседуем с ним: он учит меня богатству русской речи, а я как бы напоминаю ему о его славной истории. Так некоторые книги, не старея и не остывая, идут в ногу с временем, и времени никогда не опередить их.

В 1869 году вышла в свет книга Н. Флеровского «Положение рабочего класса в России». Флеровский — псевдоним Василия Васильевича Берви, известного экономиста и публициста. Книга Флеровского, так же как и другая его книга — «Азбука социальных наук», вышедшая два года спустя, пользовалась огромным успехом у революционной молодежи. Книгу «Положение рабочего класа в России» высоко ценил Карл Маркс.

«Азбука социальных наук» была уничтожена русским правительством. Экземпляр, который хранится у меня, наглядно повествует о том, как книга была уничтожена: обугленные почерневшие края страниц хранят следы огня, но огонь не сжигает человеческой мысли, и с особенным чувством читаешь заключительные строки этой книги:

«...заслуга современной европейской цивилизации, по сравнению с предшествующими, будет равняться если не нулю, то величине очень близкой к ничтожеству — она точно так же, как и ее предшественницы, не учит людей жить создающею солидарность между ними мировою жизнью, она не развивает в них той силы, которая для каждого человека может сделаться источником наибольшего счастья; между тем до тех пор, пока люди этому не научатся, они не будут исполнять своего назначения и будут только уменьшать и собственное свое, и чужое счастье».

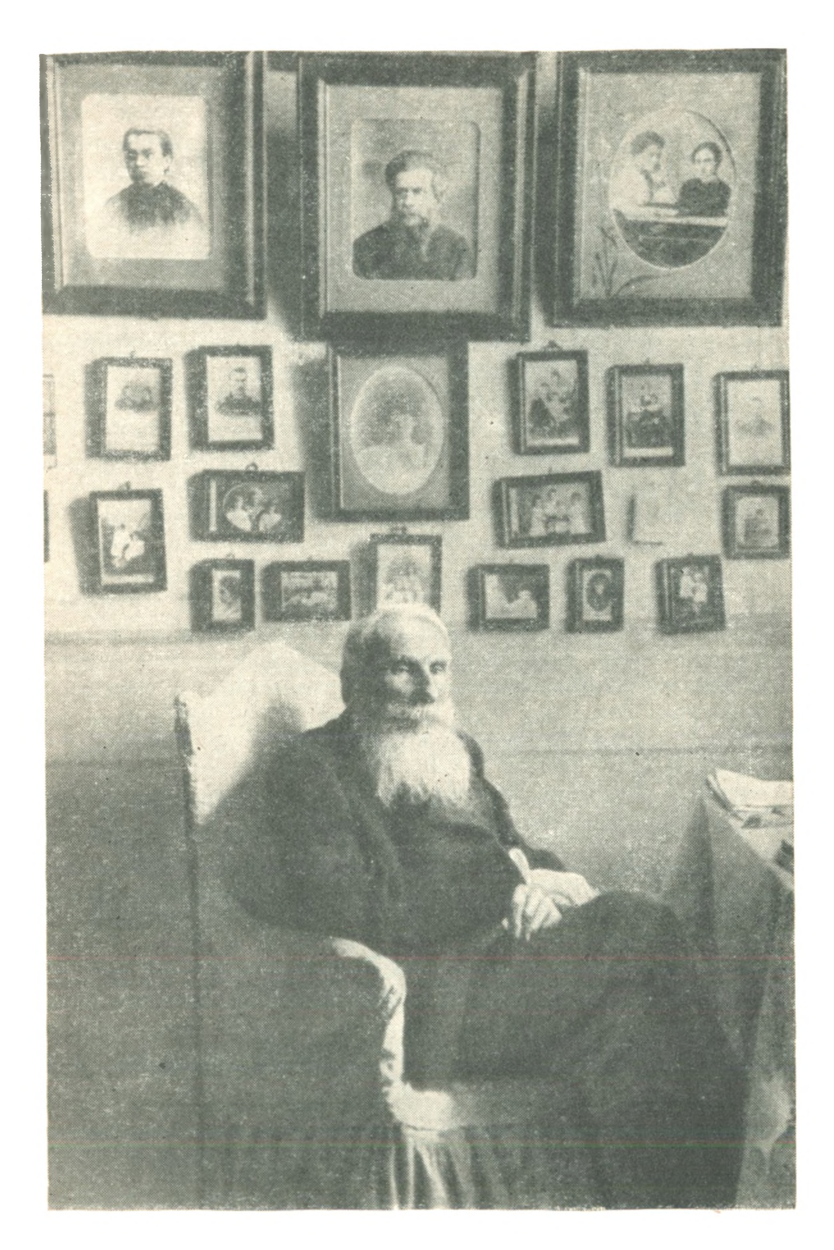
Огонь не испепелил этих пророческих строк, и книга Флеровского закономерно стоит на моей книжной полке рядом с другой, тоже сожженной книгой — «Право естественное» Александра Куницына, вышедшей в 1818 году.

Куницын был одним из любимых учителей А. С. Пушкина и его товарищей в Царскосельском лицее. Пушкин, на формирование воззрений которого оказал влияние Куницын, вспоминает о нем в одном из самых проникновенных своих стихотворений, посвященном лицейской годовщине:

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена...

Обе части «Права естественного», в которых Куницын резко высказывался против тирании и провозглашал право граждан сопротивляться угнетению, были изъяты и уничтожены правительством, а Куницын отстранен от преподавания в лицее.

«Властелин не может употреблять для того средства не совместные со свободою и честью граждан... Ни один из подданных не может принять такого поручения, которое противно свободе его сограждан... Распри народов по праву независимости должны быть решены самими народами; потому на заключение мира между воюющими Державами никакой другой народ не может иметь самопроиз-



Н. Флеровский (В. В. Берви)

вольного влияния» — и многое еще другое хотелось бы выписать из этой сожженной книги, которую держал, может быть, в руках Пушкин.

В русском языке есть устаревшее слово «страстотерпец». В буквальном смысле оно означает — мученик, в переносном — человек, готовый ко всем испытаниям во имя поставленной перед собой цели. К числу таких страстотерпцев можно отнести оригинального, забытого ныне писателя прошлого века — Ивана Гавриловича Прыжова. Обвиненный по нечаевскому делу, Прыжов был отправлен отбывать каторгу на Петровский железоделательный завод в Забайкалье, пробыл там почти десять лет и вскоре, выйдя на поселение, умер. Но мученической была и вся писательская жизнь Прыжова, полная неудач, нищеты, отчаяния, разочарования; статьи и книги Прыжова трудно печатались, найти их ныне почти невозможно.

Мне посчастливилось собрать почти все книги Прыжова, изданные при его жизни: «История кабаков в России», «Нищие на святой Руси», «26 московских лже-пророков, дур и дураков». Авторство последней книги присвоил аферист-издатель Барков, выпустив ее без фамилии автора и указав только, что это издание Баркова, из чего можно было заключить, что он и является автором книги. (Прыжов в отчаянии подарил ему рукопись, так как никто из книгопродавцев не захотел приобрести ее даже за 8—10 рублей.)

Книги Прыжова повествуют о трагических условиях жизни народа в царской России, о нищете, о систематическом спаивании. Они разоблачают «блаженных», «пророков» — проходимцев, дурачивших народ, насаждавших суеверие и изуверство.

В книжке «Житие Ивана Яковлевича известного пророка в Москве» Прыжов разоблачает кумира московских купчих, плута и изувера Корейшу, на защиту которого немедленно поднялся архимандрит Федор, ибо церкви нужны были всяческие «пророки» и «провидцы», поддерживавшие веру в чудесные исцеления, «святую» воду и прочие атрибуты церковного обмана.

В 1934 году вышел большой том очерков, статей и писем Прыжова; но его книжки, изданные в семидесятых годах прошлого века, всегда пробуждают во мне особое чувство: и то, что они так бедно изданы, и то, что мошенник-издатель попросту украл у Прыжова авторство одной

из его книг,— все это так наглядно и грустно представляет нищую, трагически завершившуюся жизнь одного из своеобразных писателей прошлого.

История судеб декабристов — не только история судеб многих блистательных и мужественных людей, но в ряде случаев и судеб загубленных писательских и поэтических талантов. Книги декабристов А. Бестужева-Марлинского и К. Рылеева были переизданы не раз в наше, советское время, и все же, когда держишь в руках первое издание «Дум» Рылеева или его поэмы «Войнаровский», невольно переносишься к тем временам, когда книги эти были изданы и когда наряду с книгами Рылеева вышли книги ряда других поэтов-декабристов, получивших меньшую известность; но кто знает, как развернулись бы эти поэтические таланты при других обстоятельствах.

Вот они лежат передо мной — скромные книжечки, заявка на большую поэтическую судьбу. «Опыты» Александра Шишкова 2-го, вышедшие в 1828 году, с пророческими строками заключительного стихотворения «Родина»:

Гонимый гневною судьбой,
Давно к страданьям осужденный,
Как я любил в стране чужой
Мечтать о родине священной.

Книжки В. Кюхельбекера «Смерть Байрона» и «Шекспировы духи», изданные в 1824 и 1825 годах, его же «Ижорский», напечатанный стараниями Пушкина в 1835 году, когда сам автор находился в далеком изгнании и даже имени его нельзя было указать на книге.

Вот вышедшие одновременно в 1826 году «Опыты священной поэзии» и «Опыты аллегорий» Федора Глинки, «Записки о Голландии 1815 года» Николая Бестужева (1821), «Поездка в Ревель» Александра Бестужева, первая книжка будущего популярного писателя, вышедшая в 1821 году.

Может быть, сами авторы держали в руках эти книжки, а если и не они, то во всяком случае те, кому они были духовно близки, кто не забывал о них, когда «во глубине сибирских руд» хранили они не только гордое терпение, но и веру в конечное торжество своего дела.

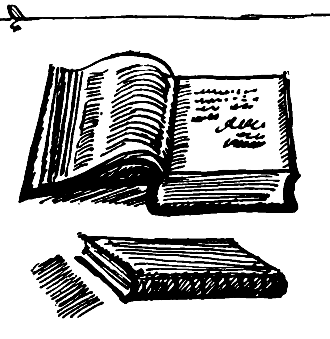
Любовь к книге меньше всего подразумевает любовь к редкой книге. Но рассказы о ней побуждают по-особому относиться к этому совершеннейшему созданию человека,

к памятнику времен и народов. Если воспитать с детства любовь к книге, то из юного книголюба вырастет человек, привязанный к книге, сеятель просвещения в самом возвышенном смысле этого слова и прежде всего вдумчивый и требовательный читатель.

Написав о некоторых книгах, стоящих на моих полках, я, по существу, побеседовал с книгами, на этот раз печатно: обычно беседы мои с ними — устные, но они происходят всегда, углубляясь и обогащаясь, если о той или другой книге узнаешь что-либо новое; а свойство книг таково, что история их никогда не кончается, она подобна живой воде, она в вечном движении.

ЖИВЫЕ НАДПИСИ





Много лет книги дарят меня находками. Находки позволяют проникнуть в глубину жизни писателей, которых отделяют от нас иногда целые столетия. Исследователи литературы хорошо знают радость таких находок: надо пройти сложный лабиринт фактов, сопоставлений, архивных материалов, эпистолярного наследия писателя.

Открытия книголюба проще, но не менее поучительны. На моих книжных полках есть книги, с которыми у меня давно установилось потаенное содружество: я знаю некоторые их тайны, открытие которых волнует меня, потому что они дополняют образ писателей, написавших эти книги, или образ бывших владельцев этих книг.

У писателя есть близкие, есть друзья, есть просто знакомые. Тем и другим он дарит зачастую свои книги с автографами. Автографы бывают различные, в зависимости от

степени чувства. Но бывают и такие, которые проливают свет на отношения между писателями или, напротив, сами могут служить загадкой.

У поэта Василия Андреевича Жуковского были две племянницы — сестры Юшковы: одна из них — Авдотья Петровна — впоследствии Киреевская, другая — Анна Петровна Зонтаг, ставшая известной в свое время детской писательницей. Жуковский относился с глубоким вниманием и нежностью к обеим племянницам, известна его обширная переписка с ними.

Однажды, заключая, видимо, какие-то давние взаимные споры о назначении поэзии, Жуковский подарил А. П. Киреевской книжку из своей библиотеки. Книжка была на французском языке под названием «О старости, или древний Катон. О дружбе или Лелий. Творения Цицерона, переведенные М. Королевским судьей Д***. Париж. 1780». На титульном листе есть надпись на французском языке рукой Жуковского: «Василий Жуковский — госпоже Киреевской». На первой же пустой страничке книжки Жуковский написал четверостишие, из которого можно понять, что спор между ним и племянницей был о поэзии.

Пусть Д р у ж б а, не смотря на спор,
Нас доведет до С т а р о с т и веселой.
Щитайте в добрый час поэзию за вздор,
Но верте, что теперь она с н а ч а л а д е л о.
1814, Генварь 11.

Подчеркнутые Жуковским слова «Дружба» и «Старость» находятся в перекличке с названием подаренной им книжки. Таким образом, маленькое неизвестное четверостишие Жуковского уточняет его взгляд на значение поэзии. Вспомним, что первое печатное произведение Пушкина — «К другу стихотворцу» — появилось в «Вестнике Европы» именно в 1814 году, и строки «Арист, не тот поэт, кто рифмы плесть умеет и, перьями скрыпя, бумаги не жалеет» находятся в прямом соответствии со строками Жуковского о том, что поэзия — прежде всего дело.

Вызывает у меня особое чувство и одно из изданий басен Крылова. Иван Андреевич Крылов скончался 9 ноября (ст. стиля) 1844 года. Его последним распоряжением было разослать всем знакомым и друзьям по экземпляру нового издания его басен («Басни И. А. Крылова в девяти книгах. Санктпетербург. 1843»).

Душеприказчик Крылова Я. И. Ростовцев на рассвете того же дня, когда умер Крылов, распорядился, чтобы в типографии ручным способом была оттиснута на первом чистом листе каждого экземпляра следующая надпись:

9-го Ноября
4½ часов утра.
По желанию Ивана
Андреевича Крылова.
Присланное душеприкащиком его
Яковом Ивановичем Ростовцевым.

В таком виде вместе с траурным объявлением экземпляры книги были в то же утро разосланы знакомым Крылова.

На экземпляре, который хранится в моей библиотеке, написано от руки следующее:

«1844. Через три часа с четвертью, после изъявления желания, чтобы всем знакомым его было послано по экземпляру басен, И. Крылов — скончался!..

Книга эта была прислана отцу моему в 4 часа пополудни вместе с приглашением на погребение поэта и немедленно отдана была мне.

В память траурной ея обертки из белого картона с черным ободочком я сделал настоящий ее переплет.

Николай Арбузов».

Переплет, сделанный из белого муара с черным траурным ободком в точности воспроизводит картонную обложку. Николай Алексеевич Арбузов был, по-видимому, племянником поэта Н. А. Арбузова.

Трогательно не только предсмертное распоряжение Крылова, но и то, что наборщики успели в несколько часов тиснуть ручным способом дарственную посмертную надпись.

Два года назад я приобрел в Ленинграде то же издание басен Крылова, но с иным, уже печатным текстом на обложке:

Приношение.
На память об Иване Андреевиче.
По его желанию.
1844.
9-го Ноября.
8-го, утром.

По печатному тексту обложки можно уточнить час смерти Крылова, а на экземпляре, принадлежавшем Арбузову, указан час, когда Крылов изъявил желание, чтобы всем знакомым было послано по экземпляру его книги: за три с четвертью часа до смерти.

Когда держишь в руках эти оба экземпляра басен Крылова, то наглядно представляешь себе и холодное ноябрьское утро в Петербурге и труд наборщиков типографии военно-учебных заведений, главным начальником которой был именно душеприказчик Крылова Я. И. Ростовцев... Добавим к этому строки из книжки академика Михаила Лобанова «Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова», изданной в 1847 году и хранящейся у меня с дарственной надписью вдовы автора Ольги Лобановой Я. И. Ростовцеву: «Его превосходительству Якову Ивановичу Ростовцеву, на память о его приятеле Иване Андреевиче Крылове и сочинителе его биографии Михаиле Евстафьевиче Лобанове, почитавшем их обоих. Вдова Ольга Лобанова. 25 Марта. 1847».

Вот что пишет Лобанов о последних часах жизни Крылова:

«За несколько часов до кончины он велел перенести себя в кресла, сказал: «тяжко мне!» и потребовал, чтобы снова положили его в постель. Вспомнив, что напечатано им новое издание его басен, еще не выпущенное в свет, он поручил окружавшим его разослать по экземпляру всем помнящим о нем. Не я один, а, конечно, многие заплакали, получив приглашение на похороны Крылова и вместе с тем экземпляр изданных им самим басен, на заглавном листе которых, очерченном траурной каймою, было напечатано: «Приношение. На память об Иване Андреевиче по его желанию».

Но есть некоторая неточность в утверждении Лобанова, что это издание басен еще не было выпущено в свет: у меня хранится отдельно обложка этих басен с автографом И. А. Крылова: «Милым маленьким Грубачевым от сочинителя И. Крылова». Следовательно, какое-то количество экземпляров было выпущено в свет еще при жизни баснописца.

Вот как много может рассказать короткая надпись на книге, если уметь прислушаться к ее, надписи, голосу.

Меня волнует, например, надпись И. С. Тургенева на пятой части его сочинений, изданной в 1874 году и открывающейся повестью «Первая любовь».

«Екатерине Николаевне Кравченко-Половцевой на память незабвенного нашего вечера 15 М-а. СПБ. 1879. От Ив. Тургенева».

Вечер этот несомненно оставил глубокий след в душе собеседницы Тургенева, так как даже на корешке заказанного ею переплета для книги напечатано золотом «16 марта 1879».

Екатерина Николаевна Половцева, следует предполагать, была женой литератора Ан. Половцева, оставившего воспоминания об И. С. Тургеневе. В 1876 году, собирая материалы по истории быта крестьян Орловской губернии, Половцев заехал в Спасское познакомиться с Тургеневым; знакомство их продолжилось и в Петербурге.

Иногда о литературных судьбах или даже целых событиях в литературной жизни повествуют не только надписи на книгах, но и вклеенные в книги вырезки или дополнительные сведения: известный библиограф П. А. Ефремов зачастую вплетал в книги такого рода материалы, правда, не только обогащая ими будущих исследователей, но иногда и озадачивая.

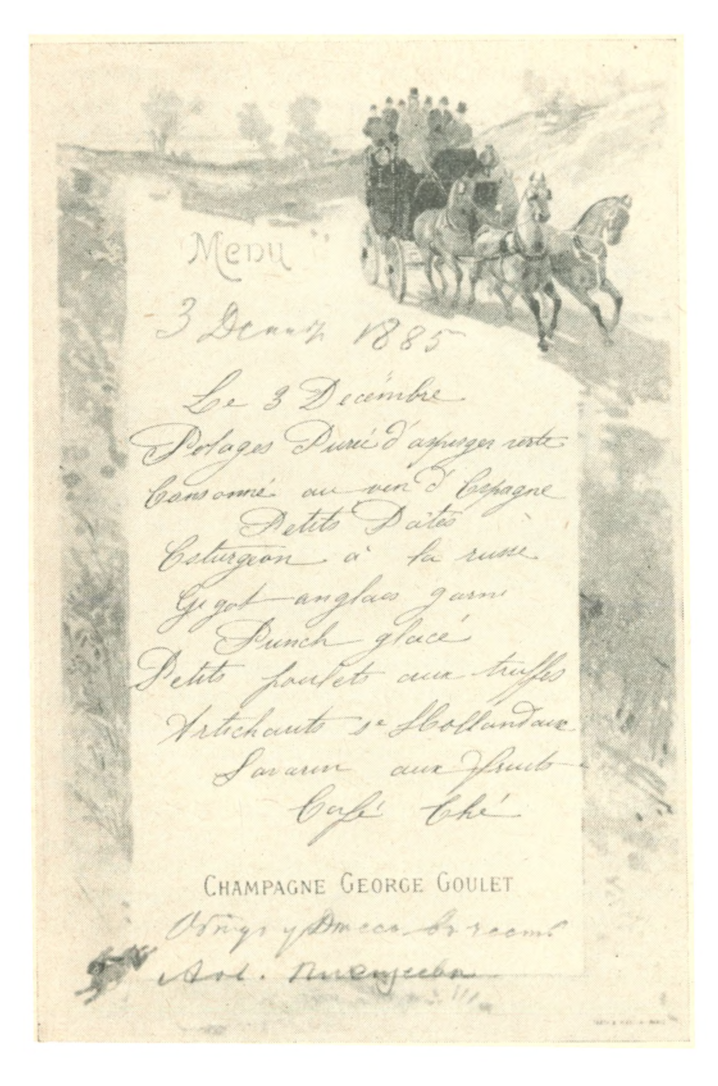
Мне попал как-то в руки том стихотворений А. Н. Плещеева, изданный в 1887 году. В этот том вклеено было кем-то меню обеда в честь А. Н. Плещеева в одном из петербургских ресторанов 3 декабря 1885 года, когда Плещееву исполнилось шестьдесят лет. Это был, видимо, просто литературный обед, так как официальный юбилей А. Н. Плещеева праздновался 15 января 1886 года.

В письме к С. Я. Надсону от 23 ноября 1885 года Плещеев писал:

«Вы, конечно, не подозреваете, что вчера, в день моего рождения (мне исполнилось 60 лет. Невеселый возраст!), вы, вместе с некоторыми юными поэтами, преподнесли мне адрес с выражением сочувствия за то, что я на старости лет не исподлился. Инициатива шла от милейшего В. М. Гаршина, который не только сочинил и собственноручно написал этот задушевный и очень меня тронувший адрес, но и подписался за вас, да так удачно, что не отличишь его подписи от вашей».

А Гаршин, в свою очередь, писал Надсону в конце января 1886 года:

«Мы праздновали юбилей (А. Н.) Плещеева в два приема: во-первых, в большом виде, у Понсе, где было 120 человек, а затем в ред. «Сев. Вестника», где были все свои


Menu

3 Декабря 1885

Le 3 Décembre

Potages Purée d'asperges verte

Consommé au vin d'Espagne

Petits Pâtés

Esturgeon à la russe

Gigot anglais garni

Punch glacé

Petits poulets aux truffes

Artichauts s. Hollandaise

Savarin aux fruits

Café Thé

CHAMPAGNE GEORGE GOULET

Обѣдъ устроенъ въ честь

Ал. Плещеева

Меню обеда в честь А. Н. Плещеева, вклеенное в его книгу

люди, человек 15, поднесшие юбиляру венок (серебряный) и при этом обедавшие».

Так, меню обеда в честь Плещеева, вклеенное в книгу его стихов, приоткрывает страницу литературной жизни прошлого, и притом страницу, связанную также и с именами Надсона и Гаршина. Это очень трогательная страница, и я с особым чувством храню книгу А. Н. Плещеева, который «не исподлился на старости лет».

ДВЕ ВСТРЕЧИ



Иван Иванович Дмитриев является автором прославленного стихотворения «Стонет сизый голубочек», ставшего народной песней. Дмитриева роднила с Державиным не только общность поэтических интересов, но и сердечная дружба между ними. Когда-то я приобрел переплетенные в один том две части «Сочинений Ивана Дмитриева», изданные в 1803 году. На первой чистой странице этой книги есть надпись: «Его Высокопревосходительству Милостивому государю Гавриилу Романовичу от автора. Москва. 1803 года. Сентября 21 дня». В книге есть следы руки и самого Державина, читателя взыскательного и радующегося удачам и находкам другого. Так, возле последних строк стихотворения «Подражание Петрарку» есть пометка Державина: «Прекрасно, прекрасно!!»

И страждущий Петрарк на камень упадает
Без памяти, без чувств, так холоден, как он,
Лишь эхо отдает глухой и томный стон.

Есть одобрительная пометка Державина и возле другого стихотворения — «Без друга и без милой брожу я по лугам...».

Мне вдвойне дорога эта книга, запечатлевшая перекличку двух славных поэтов прошлого. Пометки Державина представляются мне добрым примером внимания одного писателя к другому.

Во время минувшей войны мне привелось как-то побывать в качестве корреспондента газеты «Известия» в Куйбышеве. В одном из магазинов старой книги, где торговали и канцелярскими принадлежностями, я увидел на прилавке стопку книг, видимо, таких, каких никто не покупает за их ненадобностью. Действительно, все это была так называемая «рóзбить», то есть отдельные тома сочинений или книги, которые библиотека ликвидировала за полным их обветшанием. Но в самом низу стопки лежала какая-то старенькая книжечка, судя по корешку с цветной наклейкой, и я не без труда вытащил ее. Книжечка оказалась третьей частью сочинений Ивана Дмитриева, вышедшей в 1805 году, и на обороте переплета был автограф Дмитриева: «Его Высокопревосходительству Милостивому Государю Гавриилу Романовичу Державину в знак душевного почтения от Издателя».

— Что вы там такого нашли? — поинтересовался продавец, вероятно, прочитав на моем лице то, что истинные книжники обычно скрывают под маской равнодушия: такова природа собирания. Я не захотел кривить душой и рассказал продавцу об изумительной находке: о том, что первые две части уже множество лет стоят у меня на книжной полке, а теперь — в войну, в Куйбышеве, неизвестно откуда взявшаяся, повстречалась мне и третья часть, тоже с авторским посвящением Державину.

— Ничего удивительного нет,— сказал мне продавец философски.— Книги прежде ходили пешком, а теперь они летают на самолетах, как и люди... мало ли кто мог привезти в эвакуацию эту книгу.

Я не внял трезвому голосу, я все же был поражен находкой, но в одном продавец был прав: книга вместе со мной прилетела на самолете из Куйбышева в Москву, и тридцать лет спустя все три части сочинений Дмитриева, подаренные им Державину, соединились у меня на книжной полке: это все-таки маленькое чудо.

Впрочем, почти то же самое произошло с Пушкиным и Денисом Давыдовым. Тоже тридцать лет, если не больше, стоял у меня на полке томик «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданныя А. П.» в 1831 году. Томик этот оклеен зеленоватой бумагой в прожилках, и корешок у него золотой, в сеточку, столь отличительный, что, увидев его раз, уже не забудешь.

Год назад в одном из книжных магазинов я увидел родного брата или, вернее, родную сестру этой книжечки: это был томик, оклеенный такой же зеленоватой бумагой в прожилках, с тем же узором на корешке, того же формата, что и «Повести Белкина»; на этот раз томик оказался стихотворениями Дениса Давыдова издания 1832 года. У меня было это издание, но в другом переплете, и я все же купил этот томик просто из-за разительного сходства с томиком Пушкина.

Дома, сравнив обе книжки, я увидел, что они не только из одной и той же библиотеки, но и по чернильному библиотечному номеру бывшего владельца стояли на его полке, разделенные лишь одной книгой: на томике Пушкина был № 267, на томике Давыдова — № 269.

«Что ж,— сказал я мысленно,— вот вы и соединились снова примерно через 120 лет, попробуйте сказать, что у книг нет своей судьбы и что судьбы эти нередко бывают удивительны».

Только я поставил их ныне рядом, и кто знает — не найду ли я со временем и третью книжку, которая разделяла их когда-то.



«Душенька» у ног Державина



В тридцатых годах во многих букинистических магазинах Москвы появился ряд старинных книг. На одних был штамп «Нарышкинская особая библиотека в г. Тамбове», на других — экслибрис-монограмма «ДВП», на третьих — надпись выцветшими чернилами «Ф. Д. Хвощинский». Была та пора, когда некоторые библиотеки, желая обновить свой фонд, без сожаления расставались со старыми изданиями, определяя значение книги только спросом на нее. В воспоминаниях старого книжника П. П. Шибанова «Полвека со старой книгой и ее друзьями», пока еще не напечатанных, рассказано, между прочим, о том, как таким же образом опустошалась в те годы морская библиотека в Севастополе, основанная адмиралом М.П. Лазаревым и пополнявшаяся книгами из собраний целого ряда русских мореплавателей. Сейчас, естественно, об этом можно вспомнить лишь с глубоким сожалением.

Свою судьбу и историю имели и книги со штампом «Нарышкинская особая библиотека в г. Тамбове». Тамбов — город культурных традиций. В Тамбове вышло в свое время не мало провинциальных изданий, в Тамбовской губернии было много дворянских библиотек, наконец, губернатором в Тамбове был в свое время Г. Р. Державин. Постепенно книжные сокровища стекались из помещичьих библиотек в Тамбов, где и была образована «Нарышкинская особая библиотека», включившая в себя и дворянские библиотеки Д. В. Поленова и Ф. Д. Хвощинского и, наконец, личную библиотеку самого Державина.

Собирателю книг всегда свойственно одно особое чувство: чувство жалости к редкой книге, если она по небре-

жению, в силу случайности или недопонимания ее ценности рискует попасть в руки несведущего человека. Так, однажды я нашел в одном из книжных магазинов том стихотворений В. Жуковского с мельчайшей неразборчивой надписью выцветшими чернилами на титуле. Я долго пытался разобрать в полусумраке магазина надпись, так и не разобрал ее и решил перенести это на утро, легкомысленно не попросив отложить для меня книгу. Только вернувшись домой, я расшифровал надпись и утром поспешил в магазин. Но продавец сообщил мне, что всего четверть часа назад какой-то летчик, желая сделать своему сыну подарок в день рождения, купил эту хорошо переплетенную книгу стихотворений Жуковского.

Надпись же, какую я с опозданием расшифровал, была сделана рукой Жуковского: «Дымной печурке от Светланы»; по кличкам известного литературного общества «Арзамас» (1815—1818) «Дымной печуркой» именовался А. Ф. Воейков, а кличкой самого Жуковского была «Светлана». Можно почти с уверенностью сказать, что том стихотворений Жуковского с его автографом навсегда погиб.

Книги из попавшей частично в продажу «Нарышкинской особой библиотеки» заинтересовали меня. В большинстве случаев это были первые издания русских поэтов и путешествия русских прославленных мореходов. Но, просматривая книги, я увидел на одной из них — на «Стихотворениях Анакреона Тийского», выпущенных в 1794 году в переводе Николая Львова,— такую надпись:

«Любезному Другу моему Гавриилу Романовичу. Числа 12. С. П.-бург».

Н. А. Львов, один из первых собирателей русских народных песен, поэт, композитор и архитектор, был другом Державина. В Гатчине до сих пор сохранилась построенная Львовым пристройка к Приоратскому дворцу на Черном озере — одно из чудеснейших архитектурных творений.

Надпись Львова на книге свидетельствовала, что «Анакреон» из библиотеки Державина. Порывшись в привезенных книгах, я нашел и другой томик, принадлежавший некогда Державину, с его инициалами на корешке,— «Душеньку» И. Ф. Богдановича.

В русской литературе есть немало примеров, когда имя писателя прочно закрепилось благодаря одной вещи. Богданович был человеком просвещенным. Он составил один

Гаврилу Романовичу Державину
приноситъ самъ

ДУШИНЬКА.

ДРЕВНЯЯ ПОВѢСТЬ

ВЪ ВОЛЬНЫХЪ СТИХАХЪ



№3076.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ,

печатана въ вольной типографiи у Вейтбрехта,

1783 года.



Титульный лист книги с автографом И. Ф. Богдановича

из первых сборников русских пословиц, изданный в 1785 году, сборники стихов и драматических произведений. Но его «древняя повесть в вольных стихах» «Душенька» не только прочертила яркий след в литературе, но именно с нею и связана писательская известность Богдановича. «Душенька» издавалась множество раз; она выходила и миниатюрными изданиями, и с иллюстрациями, и как текст оперы с превосходнейшими гравюрами — заставками и концовками.

Но экземпляр из библиотеки Державина был самый непритязательный: первое издание 1783 года; он отличался лишь авторской надписью на титуле: «Гавриле Романовичу Державину приносит сама Душинька».

Однако выискал я не только книги, подаренные авторами Державину, но и книгу самого Державина с его необычайно трогательной надписью, некогда хранившуюся, наверно, под зеленой тафтой, как одна из самых близких сердцу драгоценностей.

В 1794 году у Гавриила Романовича Державина умерла его первая жена. В его «Записках», изданных «Русской беседой» в 1860 году, есть такая запись:

«Июля 15-го числа 1794 году скончалась у него первая жена. Не могши быть спокойным о домашних недостатках и по службе неприятностях, чтоб от скуки не уклониться в какой разврат, женился он Генваря 31 дня 1795 года на другой жене, девице Дарье Алексеевне Дьяковой.

...В одно время, сидя в приятельской беседе, первая супруга Державина и вторая, тогда бывшая девица Дьякова, разговорились между собой о счастливом супружестве. Державина сказала, ежели бы она г-жа Дьякова вышла за г. Дмитриева, который всякой день почти в доме Державина и коротко был знаком, то бы она не была безсчастна. «Нет, отвечала девица, найдите мне такова жениха, каков ваш Гаврила Романовичь, то я пойду за него, и надеюсь, что буду с ним счастлива». Посмеялись, и начали другой разговор. Державин, ходя близь их, слышал отзыв о нем девицы, который так в уме его напечатлелся, что, когда он овдовел и при мысли искать себе другую супругу, она всегда в воображении его встречалась».

Книга Державина, которую я нашел, оказалась его «Анакреонтическими песнями», изданными в Петрограде в 1804 году. На первой чистой страничке этой книжки, переплетенной в красный марокен, есть дарственная над-

пись Державина. Надпись эта, однако, зачеркнута автором так, что можно разобрать только слова: «Ее превосходительству Дарье Алексеевне Дьяковой автор...». Внизу же вместо зачеркнутой надписи Державин вписал двустишие:

Пышная надпись черна
В память Дашиньке дана.

Вторая надпись последовала, когда Д. А. Дьякова стала его женой.

В книжке много стилистических и смысловых поправок рукой Державина, но наибольший интерес представляет шуточный вариант его известного стихотворения «Пчелка». Слева печатный текст стихотворения, справа написанный на полях рукой Державина вариант:

ПЧЕЛКА

Пчелка златая, Что ты жужжишь? Всё вкруг летая Прочь не летишь, Или ты любишь Лизу мою?	Каша златая, Что ты стоишь? Пар испущая, Вкус мой манишь. Или ты любишь Пузу мою?
Соты ль душисты В желтых власах, Розы ль огнисты В алых устах, Сахар ли белой Грудь у нея?	Зерны ль златисты Полбы в крупах, Розы ль огнисты Гречи в горшках, Сахар ли белой Проса с млеком?
Пчелка златая, Что ты жужжишь? Слышу, вздыхая, Мне говоришь: К меду прилипнув, С ним и умру.	Каша златая, Что ты стоишь? Слышу, вздыхая, Мне говоришь: К каше привыкнув, С тем и умрешь.

Литературовед Дмитрий Дмитриевич Благой, редактируя новое издание сочинений Державина, тщательно изучал у меня экземпляр «Анакреонтических песен». Экземпляр этот был в свое время в руках у Я. К. Грота, но Д. Д. Благой нашел не только разночтения, но и неправильно расшифрованные Гротом исправления Державина, сделанные мягким коричневым и черным карандашами, а кое-где и гусиным пером.

XXIX.

ПЧЕЛКА.

Пчелка златая,
Что ты жужжишь?
Всё вкругъ летая
Прочь не летишь
Или ты любишь
Лизу мою?

Соты ль душисты
Въ желтыхъ власахъ,
Розы ль огнисты
Въ алыхъ устахъ
Сахаръ ли бѣлой
Грудь у нья?

Пчелка златая
Что ты жужжишь?
Слышу вздыхая
Мнѣ говоришь:
Къ меду прилипнувъ
Съ нимъ и умру.

Страница из «Анакреонтических песен» Г. Державина с шуточным авторским вариантом

Я рад, что мой экземпляр послужил редактору и комментатору: в новое издание стихотворений Державина, вышедшее в большой серии «Библиотеки поэта» в 1957 году, внесены все поправки.

ИЗ КНИГ ЕФРЕМОВА



Имя П. А. Ефремова осталось не только в истории нашей литературы. Оно осталось, и, пожалуй, в не меньшей степени, и в истории книжного собирательства. Я без раздумья приобретаю книгу, на которой есть овальная печать «Петр Александрович Ефремов» или зеленоватый библиотечный ярлык «Из книг П. А. Ефремова». Зряшных книг Ефремов не держал, и зачастую в книгах из его библиотеки можно найти что-нибудь неожиданное.

В тридцатых годах я приехал как-то в Ленинград. Я давно знал и весьма уважал А. С. Молчанова, одного из старейших и корректнейших книжников, отличного знатока книги и приятного человека. В книгах в ту пору я разбирался не очень-то; Андрей Сергеевич был на этот счет хорошим наставником.

Когда оглядываешь свои книжные полки, вспоминаешь и историю приобретения книг. С разных концов стекаются книги к собирателю; а поездив немало по городам и весям, я всегда старался привезти с собой какую-нибудь книжку на память о том или другом городе. Есть у меня книги, привезенные мной из Владивостока и Каунаса, Воронежа и Риги, Ростова-Ярославского и Харькова... Есть книги из Парижа и Праги, из Милана и Лондона, из Осло

и Франкфурта-на-Майне: таковы судьбы книг, связанные и с судьбой человека.

— Устройте мне какую-нибудь книжечку,— попросил я Андрея Сергеевича в тот приезд в Ленинград.

Он задумался.

— Да ничего такого нет,— сказал он, как говорят обычно книжники.— Мало что стало попадаться.— Потом он поглядел на меня, как-то внутренне примерился и сказал вдруг: — Хорошо. Устрою вам одну книжечку. Вы несомненно будете вспоминать Молчанова.

Он ушел в соседнюю комнату и принес тоненькую маленькую книжечку, переплетенную в зеленый марокен с золотом, как переплетают лишь любители и лишь какую-либо книжную драгоценность. На переплете золотом было оттиснуто «Письмо к другу». Я повертел в руках книжечку; я ничего о ней не знал и поколебался.

— Возьмите,— сказал Молчанов твердо, даже немного сурово.— Возьмите. Это будет у вас одна из лучших книг.

Так я приобрел редчайшую книгу Радищева, отпечатанную им самим в виде пробы в собственной типографии, почти апокрифическую по редкости,— «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске».

Об этой книге рассказал Н. П. Смирнов-Сокольский в своих «Рассказах о книгах»: ее у него не было и, сколько я знаю, его библиофильское сердце сжималось при мысли, что у него нет этой книги. Смирнов-Сокольский рассказал зато о «Житии Ушакова» Радищева, тоже величайшей редкости, которую он по незнанию не приобрел в свое время, и ему подарил ее впоследствии Демьян Бедный. Могу добавить к этому рассказу, что книжка была у меня первого в руках, и я не купил ее тоже по незнанию. Я не сожалею об этом: у Смирнова-Сокольского ей жилось не хуже, чем жилось бы у меня.

На моем экземпляре «Письма к другу» есть белая наклейка библиотеки для чтения А. Смирдина и ее реестровый номер 6370. Вероятно, в «Росписи» книг А. Ф. Смирдина она и значится под этим номером.

С книгами, как известно, Ефремов обращался весьма своевольно: в одни он вклеивал портреты и иллюстрации, из других вырезал их, и по ефремовским экземплярам никогда нельзя составить точной описи, скажем, русских иллюстрированных изданий: его экземпляры могут привести в отчаяние не одного собирателя, которому будет

ПИСЬМО.

другу жительствующему въ Тобольскѣ.

По долгу званія своего.



Съ дозволѣнія Управы Благочинія.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ 1790.

Титульный лист книги Радищева, напечатанной им самим

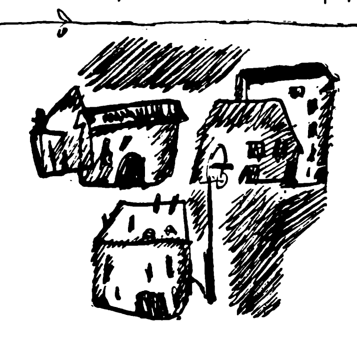
казаться, что его экземпляр неполный. Но поступал Ефремов с некоторыми книгами безжалостно и по другим поводам.

В свое время он переиздал журналы восемнадцатого века «Живописец» и «Трутень». Это было несомненно отличное начинание, но вот в моей библиотеке есть горестный подлинный экземпляр «Живописца»; по этому экземпляру набирали ефремовское переиздание, и на каждой странице стоит внизу подпись цензора. Правда, книжка благодаря этому приобрела как бы двойную историю, но невольно вспоминаешь при этом щаповский экземпляр «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева, который наборщики разобрали на листки для набора суворинского переиздания в 100 экземплярах. Классическая смерть владельца книг последовала именно в результате этого вандализма; но Ефремов хладнокровно распоряжался книгами, и они в его руках то непомерно распухали, то тощали, то просто служили оригиналом для набора, несмотря на свою редкость.

И. Л. Андроников однажды, посетив меня, с недоумением взял в руки два огромных, неизвестных ему тома сочинений Лермонтова. Это было ефремовское издание, прихоть Ефремова: может быть, два или пять экземпляров, отпечатанных на особой бумаге большого формата, с неизвестным портретом Лермонтова и дарственной надписью издателя собирателю Е. Н. Тевяшеву. В другом случае один из известных крылововедов с таким же интересом и недоумением разглядывал у меня толстый том сочинений Крылова издания 1815 года, куда Ефремов вплел почти неизвестные «Три новые басни», а также оттиски листов с гравюрами и без них, видимо, оставшиеся в процессе работы в типографии.

Таинственная прелесть книг из ефремовской библиотеки, однако, не в этих причудах и особенностях. Его книги всегда хранят след заботы и мысли владельца, книги не были для него просто книгами, они казались ему одухотворенными существами, со своей жизнью и судьбой, и многим из них Ефремов дал вторичную жизнь, переиздав их — самоотверженно, за свой счет, несомненно, всегда в убыток: 10 или даже 100 экземпляров не могли, конечно, оправдать его расходов. Это был чудесный книжник, особенный и неповторимый — Петр Александрович Ефремов.

«ТРУЩОБНЫЕ ЛЮДИ»



В книге «Москва и москвичи», давно ставшей популярной, писатель Владимир Алексеевич Гиляровский подробно рассказывает о своей первой книге — «Трущобные люди», сожженной в 1887 году московской цензурой. Книга была сожжена в Сущевской пожарной части, и Гиляровский горестно вспоминает, что уцелело всего два экземпляра: один, полученный им в несброшюрованном виде, и второй, посланный в цензурный комитет. Правда, он вспоминает еще, что ему удалось добыть у пожарных восемь страничек книги, отложенных на цигарки.

Судьбы книг показывают, что счет уцелевшим экземплярам бывает обычно не точным. Так, даже канонический счет сохранившимся экземплярам «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева испытывает время от времени колебание: появляются еще экземпляры.

Книга Гиляровского уцелела, несомненно, не в двух экземплярах, а, может быть, в нескольких, но суть не в этом. Однажды старейший московский книжник, милейший и благороднейший человек, Степан Степанович Романов, просматривая в Книжной лавке писателей присланные из Ленинграда книги, отвел меня в сторону:

— Вот вам на память о Романове,— сказал он так же, как сказал в свое время А. С. Молчанов, вручая мне «Письмо к другу» Радищева.

В руках у Романова был аккуратно переплетенный томик с красным сафьяновым корешком и золотым обрезом, так называемым «золотой головкой»: переплет, достойный только очень хорошей книги.

— Второй экземпляр описанной Гиляровским книги «Трущобные люди», и именно тот самый, который был

послан в цензурный комитет,— сказал Романов.— Пусть у вас будет от меня хорошая память.

Я приобрел этот экземпляр и храню память о Романове, погибшем в Отечественную войну, конечно, не только благодаря этой книге. Романов был отличным книжником, много работал в «Международной книге» и по своим душевным качествам был исключительно располагающим к себе человеком. Но томик «Трущобных людей» навсегда связан для меня прежде всего с памятью о Степане Степановиче Романове. Я очень берегу его подарок.

Первая книга Гиляровского была написана в духе той горькой, обличительной литературы, которую создавали передовые писатели семидесятых и восьмидесятых годов. Гиляровский описывал обитателей Хитровки и других московских трущоб, а также каторжный труд на белильном заводе в Вологде, на котором он сам в свое время работал. Цензурный экземпляр «Трущобных людей» весь в пометках синим и красным карандашами цензора, позволяющих точнейше проследить ту крамолу, с какой боролась цензура и какая определила судьбу сожженной книги.

Синим цензорским карандашом подчеркнуты в рассказе «Человек и собака» абзацы: «Но бродяга не договорил,— вдали показался городовой. («Фараон» триклятущий, и побалакать не даст,— того и гляди, «под шары» угодишь, а там и к «дяде»!)... Вспомнил он и арестантские роты, куда на четыре года военным судом осудили «за пьянство и промотание казенных вещей»... (уж и вешши! Рваная шинелишка — рупь цена — да сапоги старые, в коих зимой Балканы перевалил, да по колено в крови ходил!)...».

Карандаш цензора становится все более жирным, и чувствуешь цензорский гнев: «Человек вот был тоже, а умер хуже собаки!.. Хуже собаки!.. Разве иногда голодный, бесприютный бедняк посмотрит в щель высокого забора на собачий обед, разносимый прислугой в дымящихся корытах, и скажет:

— Ишь ты, житье-то, лучше человечьего!

Лучше человечьего!»

В рассказе «Без возврата» цензор подчеркивает синим и красным карандашами одновременно — очевидно, для усиления чувства — места, где говорится о тяжелой

Вл. Гиляровскій.

ТРУЩОБНЫЕ ЛЮДИ.

ЭТЮДЫ СЪ НАТУРЫ.

Человѣкъ и собака. — Безъ возврата. — Обреченные. — Одинъ изъ многихъ. — Спирька. — Въ балаганѣ. — Колесовъ. — „Въ глухую...“ — „Каторга“. — Послѣдній ударъ. — Неудачникъ. — Потерявшій почву. — Въ царствѣ гномовъ. — Въ бою. — Грезы.

МОСКВА.

Типографія бр. Вернеръ, Арбатъ, домъ Каринской.

1887 г.

Титульный лист сожженной книги В. Гиляровского

солдатской жизни и о солдатской учебе; эти страницы перекликаются с купринскими сценами солдатского обучения в его рассказе «Ночная смена». Почти весь рассказ Гиляровского, направленный против глумления над солдатом, против тупого, бессмысленного обучения грубыми, берущими взятки взводными,— весь рассказ испещрен безоговорочными пометками цензора. И следующий рассказ «Обреченные», тоже о солдатском житье, вызывает такой же гневный росчерк цензора. «Эх, каторга — жисть...» — раздраженный росчерк синим карандашом. «Заплата злобно погрозил кулаком по направлению к богатым палатам заводчика Копейкина» — двойной росчерк цензора.

Так через всю книгу, с такой очевидностью являя ход мышления цензора, что по цензурному экземпляру «Трущобных людей» можно проследить всю реакционную сущность цензуры, сущность злобную, почти социологически вскрывающую естество охранителей царского порядка.

«— Н-ну их, подлецов! Кланяться за свой труд... Не хочу, подлецы! Эксплуататоры! Десять рублей в месяц...», «В юности, не кончив курса гимназии, он поступил в пехотный полк, в юнкера. Началась разгульная казарменная жизнь, с ея ленью, с ея монотонным шаганьем «справа по одному», с ея «нап-пле-чо»! и «шай, нак-кра-ул!» и пьянством при каждом удобном случае...», «Все обитатели трущобы могли бы быть честными, хорошими людьми, если бы сотни обстоятельств, начиная с неумелого воспитания и кончая случайностями и некоторыми условиями общественной жизни, не вогнали их в трущобу» — все эти абзацы подчеркнуты красным и синим карандашами цензора.

Степан Степанович Романов не знал, конечно, что цензурный экземпляр «Трущобных людей» не только библиографическая редкость, но и как бы наглядное пособие, показывающее условия существования передовой литературы конца прошлого века и реакционность цензуры, призванной убивать все живое, все протестующее против угнетения человека. Это почти энциклопедия, разъясняющая, о чем можно было писать и чего нельзя было затрагивать.

Я сожалею, что этот экземпляр попал в мои руки, когда Владимира Алексеевича Гиляровского, которого

я хорошо знал и с которым дружил, уже не стало. Он бы порадовался этой находке и перечел бы страницы своей молодости, о которых подробно, вероятно, не знал: цензура без всяких пояснений распорядилась сжечь первую книгу молодого автора; и один несброшюрованный экземпляр да еще несколько страничек, уцелевших от казни, остались в архиве писателя для его будущих воспоминаний. Цензурный экземпляр несомненно обогатил бы и расширил их.

ИЗДАТЕЛИ-КНИГОЛЮБЫ



На многих книгах и поныне можно встретить особенный экслибрис, изображающий несколько томов, лежащих один на другом; на корешках томов значатся имена Буслаева, Шевырева, Пыпина и Тихонравова, как вехи литературоведческих интересов издателя этих книг Льва Эдуардовича Бухгейма, а также как знак его преклонения перед этими именами.

Я хорошо помню этого существовавшего всегда в своем особом мире книжника. Он был глуховат и, как все люди, которые плохо слышат, жил отъединенно. Но мир, в котором он жил, действительно был особый, и редко у кого встретишь такую любовь к книге, какая была у Бухгейма. Он, как и Ефремов, собирал и в то же время издавал книги, и такие именно книги, которые не могли оправдать себя и до чрезвычайности трудно расходились; но Бухгейм был одержим страстью к книге,

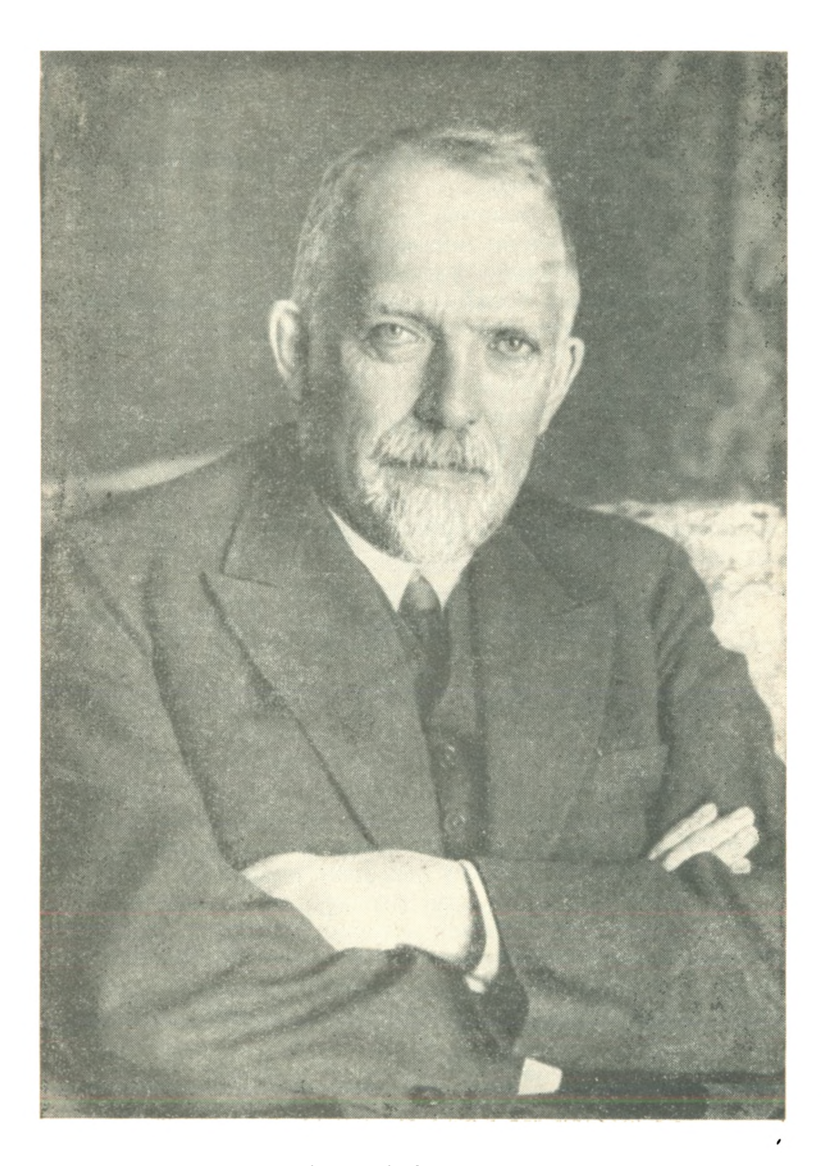
подобно Ефремову: его не только не интересовали доходы, но даже не слишком огорчало, если книга залеживалась и, по существу, мало-помалу разоряла его.

В букинистических магазинах и сейчас можно изредка найти книги, изданные Бухгеймом: «Письма к библиографу С. И. Пономареву», «Отрывки из воспоминаний М. К. Рейхель», или «Из записной книжки А. П. Бахрушина». Правда, время идет, и книги эти мало-помалу становятся библиографической редкостью, однако в свое время они прочно лежали на складах, что могло бы у человека, не влюбленного в книгу, отбить всякую охоту выпускать подобные издания. Но Бухгейм был влюблен в книгу, а где любовь, там нет расчета и тем более корысти.

Книги из личной библиотеки Бухгейма хранят особый след, помимо экслибриса, указующего интересы владельца: Бухгейм, как и Ефремов, вплетал или вклеивал в книги вырезки, относящиеся к тому или другому автору, и таковы в моей библиотеке распухшие книги «Архив села Карабихи» или «Герцен» Ч. Ветринского с десятками газетных вырезок, любовно вклеенных Бухгеймом и поучительно расширяющих познания, связанные с содержанием книг.

Лев Эдуардович Бухгейм был неутомимым собирателем. След его мысли и интересов можно почувствовать не только в изданных им книгах, но и почти в каждой книге из его литературоведческой библиотеки, широкой, побуждавшей изучать и думать.

Михаил Васильевич Сабашников был издателем другого рода. Если Бухгейм издавал книги любительски, то издательство Сабашникова было все же коммерческим предприятием, но как надо было любить книгу, верить в ее назначение, уважать ее прошлое, чтобы издавать толстые кирпичи серии «Памятники Мировой Литературы»: Лукреция, Лукиана, Саллюстия или трехтомного Еврипида... Нужны были десятилетия, чтобы книги эти разошлись, они лежали многопудово на складах, они двигались так медленно, что любой издатель пришел бы в отчаяние, но Сабашников методически, одну за другой, выпускал эти книги, выпускал на лучшей бумаге, в лучших переводах, и до сих пор книги эти являются украшением наших библиотек, спутниками уже не одного поколения,



М. В. Сабашников

Михаила Васильевича Сабашникова, корректнейшего, сдержанного, молчаливого, я знал многие годы, всегда восхищался его издательской деятельностью и уважал ее; во время войны мы жили с Михаилом Васильевичем в одном доме.

— Я всегда дивился книгам, какие вы издавали,— сказал я ему как-то.

— Чему же вы дивились? — вежливо осведомился он.

— Ведь книги ваши так медленно шли и, наверно, доставляли вам немало трудностей.

— Они у вас есть? — спросил Сабашников, имея в виду «Памятники Мировой Литературы».

— Есть, но не все.

— Это жаль,— сказал он.— Когда-нибудь вы почувствуете, зачем я издавал их.

Михаила Васильевича уже нет на свете; книги, изданные им, прочно стоят в моем книжном шкафу, и я действительно чувствую, почему он издавал эту серию, восхищаясь кованой медью Овидиевой речи или лукавым, афористичным Лукрецием, превосходно переведенным на русский язык И. Рачинским.

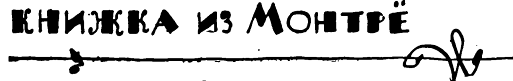
Годы идут, меняются времена, но книги, изданные Смирдиным, Павленковым, Стасюлевичем, Сабашниковым, живут; пусть многие из них устарели ныне, но для целого поколения серия «Биографическая библиотека» — биографии выдающихся людей,— издававшаяся Павленковым, как и его «Словарь иностранных слов», были своего рода энциклопедией. Издания классиков: Тургенева или Гончарова — добрые памятки издательской деятельности Глазунова, а Марк Аврелий, Калевала или персидские лирики стали известны широкому читателю благодаря Сабашникову, и мы храним имена просвещенных издателей в нашей истории культуры во главе с первым издателем-просветителем Н. И. Новиковым, без которого не представишь себе движения сатирически-обличительной литературы восемнадцатого столетия...

Недавно из села Авдотьино я получил письмо от неизвестного мне человека, собиравшего все сведения о своем славном земляке — Н. И. Новикове. Я порадовался этой доброй памяти, мне казалось, что большое ветвистое дерево выросло из семян, брошенных два века назад Новиковым,— большое дерево нашей культуры,

уходящее корнями в историю и осеняющее своей разросшейся кроной молодое поколение.

К книгам, изданным Н. И. Новиковым, у меня тоже особое отношение: когда я вижу его монограмму на титуле, моя рука невольно тянется к этой книге; я знаю, что издатель Новиков не обманет меня, что даже во внешне беззаботной книжке хранится горькое зернышко критики, или осуждения, или сатирической усмешки для посвященных, а затем, впоследствии, и для широкого круга читателей, познающих историю нашей литературы.

Книжка из Монтрё





Издательница журнала «Мир божий» Александра Аркадьевна Давыдова нежно любила впечатлительного, тонкого, душевно-глубокого писателя Всеволода Михайловича Гаршина. Отвечал признательностью Давыдовой и Гаршин. В его письмах, опубликованных в третьем томе сочинений писателя, выпущенном издательством «Academia», можно найти не одно задушевное письмо к Давыдовой.

Предметом особой заботы Гаршина был тяжело больной туберкулезом поэт С. Я. Надсон. Время меняет многое, уносит славу или, наоборот, приносит ее. Но ни одни литературные воспоминания, даже самые искренние и достоверные, не могут воспроизвести, например, атмосферу студенческой аудитории, когда выступал кумир молодежи Т. Н. Грановский; не могут они воспроизвести и то, каким кумиром — воспользуемся и ныне этим ста-

рым определением — был для молодежи Надсон. Гаршин сам был болен и хорошо понимал, что́ должен испытывать, по существу, осужденный Надсон; слово «чахотка» было в ту пору роковым. Гаршин предпринял не одну попытку помочь Надсону, устраивал его на лето у знакомых, способствовал, чтобы Литературный фонд оказал Надсону необходимую поддержку для поездки в Швейцарию, писал не раз о Надсоне Давыдовой.

Как-то в одном из книжных магазинов я нашел хорошо переплетенную, но сильно пострадавшую от огня книжку: первое издание стихотворений Надсона 1885 года. Переплет был обуглен, и обнажилась переплетная прокладка — какая-то журнальная вырезка на немецком языке. Собиратель книг, если он настоящий собиратель, не только ставит книгу на полку, он знакомится с ней, изучает ее, так сказать, «необщее выражение» и нередко находит особые, скрытые приметы, которых, может быть, на протяжении десятилетий не заметили те, у кого книжка была в руках.

Просматривая книжку, я увидел обрезанную переплетчиком мелкую надпись чернилами: «На память от А. Да...» — окончание фамилии было отрезано. Но дальше я обнаружил вставки и корректурные поправки, сделанные тем же мельчайшим почерком и несомненно авторской рукой. Сличив их с образчиком почерка Надсона, я уверился, что книжка эта принадлежала Надсону, но не он подарил ее А. Да..., а именно А. Да..., то есть Александра Аркадьевна Давыдо́ва отдала хорошо переплести первую книгу стихотворений Надсона и в этом виде поднесла ее автору. Подарок был тем более значителен по внутреннему своему смыслу, что книгу переплели в Швейцарии именно в ту пору, когда Надсон из Ментоны, где он лечился, перебрался в Швейцарию, где в Берне ему сделали тяжелую операцию. Незадолго до этого он писал Гаршину именно из Монтрё: «Зато очень хорошая штука есть в Монтрё. Называется она по-французски «шмен-де-фер-Финюкилер», а по-русски — чертова та́ратайка. Это вагон, с помощью особой машины вз́бирающийся по рельсам в 7 минут почти отвесно на высоту 800 ф., в деревеньку Глион». На ярлычке переплетчика, вклеенном в книгу Надсона, значится: H. Dehninger relieur. Montreux. Книга вышла с цензурными купюрами, и Надсон, получив ее в качестве подарка,

видимо, первым делом восстановил цензурные пропуски как отдельных слов, так и целых строф.

Так, в известном стихотворении «Милый друг,— я знаю, я глубоко знаю, что бессилен стих мой, бледный и больной...» последняя строфа была выброшена цензурой, и Надсон восстанавливает ее: «Пусть я, как боец, цепей не разбиваю, как пророк — во мглу не проливаю свет: я ушел в толпу, и вместе с ней страдаю, и даю, что в силах — отклик и привет!..»

В другом стихотворении Надсон восстанавливает выброшенную цензурой строку: «И кровь пролитая, и резкий звон цепей», в третьем: «Я стал в ряды поруганной свободы», а к стихотворению «Цветы» приложены два варианта на место цензурного многоточия. Один вариант известен и воспроизводится в современных изданиях, в том числе в малой серии «Библиотеки поэта»; а другой вариант, гораздо более социально сильный,— видимо, неизвестен. Вот это написанное рукой Надсона четверостишие:

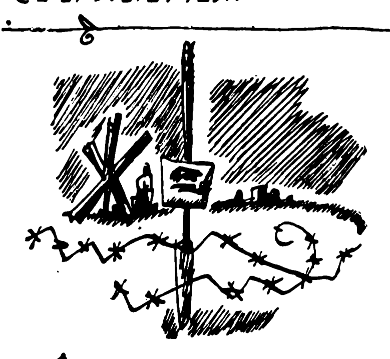
О, если б мог озлобленный бедняк
Сломить стекло в пылу негодованья,
И в комнату ворвался б мертвый мрак
И шум дождя, и вихря завыванья!..—

несомненно оно значительнее строк: «К чему бессилен ты, осенний ветр? К чему не можешь ты сломить стекла своим дыханьем, чтоб в этот пошлый рай внести и смерть, и тьму, и разметать его во прах с негодованьем».

В последующих изданиях стихотворений Надсона большинство цензурных выбросок были восстановлены, но в маленькой книжечке, переплетенной в Монтрё и подаренной Надсону А. Давыдовой, мельчайший почерк больного поэта как бы воспроизводит и его судьбу, и все, что связано с его трагической участью, и скромную историю человеческой дружбы и сочувствия...

Книги нередко заключают в себе помимо текста еще и многое другое: ярлык переплетчика, экслибрис бывшего владельца или затерянная надпись могут развернуться в целую повесть, если книга попадет в надежные руки пытливого собирателя. Так, издание сочинений Державина 1816 года отличается тем, что пятая часть снабжена личной подписью автора.

«ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»



Андрей Николаевич Лесков, сын писателя Лескова, посвятил всю свою жизнь памяти отца. Я знал Андрея Николаевича, он бывал у меня, однотомник сочинений его отца с введением А. Н. Лескова хранится у меня с такой надписью: «...давшему мне за чайным столом проверить удовлетворительность последующих строк». Андрей Николаевич читал у меня отрывок из своей превосходной книги «Жизнь Николая Лескова», вышедшей, к сожалению, уже после его смерти.

Андрей Николаевич собирал «лесковиану». Его «лесковиана» содержала помимо оригиналов еще и поразительную картотеку, куда занесено все о Н. С. Лескове, вплоть до мельчайших подробностей его жизни и литературной деятельности.

Однажды я рассказал Андрею Николаевичу об одной своей поистине удивительной находке. Во время войны редакция фронтовой газеты, в которой я работал, буквально по следам немцев оказалась близ города Александрии на Украине. В Александрии на столбах еще остались расклеенные объявления: «Всем жителям города Александрии и окрестностей. В ходе общей эвакуации подлежит город Александрия и окрестности. Призываем все население в маршевой готовности собраться на дороге в Кировоград в западной части города». Далее следовали часы сбора, сроки отправки трех колонн и подписи ортскоменданта и гебитскомиссара.

Но население не собралось в колонны, немцы же были из города выбиты.

Бродя по его улицам, являвшим полное разорение, я увидел в одном из дворов среди мусора, тлена брошенных ненужных вещей груду книг. Книги были смерзшиеся, раскисшие, и к ним было даже невозможно прикоснуться. Я стал расковыривать груду носком сапога, верхняя крышка переплета одной из книг отвалилась, и я прочел название: «Очарованный странник». Я наклонился, оторвал книгу от облепившего ее мусора и увидел вдруг на титульном листе надпись рукой Лескова.

— Как? — спросил меня Андрей Николаевич.— Надпись отца? Покажите мне эту книгу.

Книга, найденная мной на свалке в Александрии, претерпела, конечно, за время пребывания у меня разительные изменения. Ее оборванный полусгнивший переплет был заменен новым, над этим потрудился хороший переплетчик; кроме того, книга отдохнула в книжном шкафу, и Андрей Николаевич с некоторым недоверием взял ее в руки.

— Позвольте,— сказал он минуту спустя,— позвольте... ведь эта надпись проливает свет на одно до сих пор не раскрытое мной обстоятельство.

Он достал записную книжку и переписал в нее надпись.

«Григорию Петровичу Данилевскому в первое свидание после неосновательных размолвок осенью 1873 года от автора. 2. Генв. 874. С. п. б.» — было написано Лесковым на титуле этого первого, 1874 года, издания «Очарованного странника».

— Отец поссорился раз с писателем Г. П. Данилевским, а потом они помирились. Но я никак не мог установить даты примирения, а мне это было нужно для книги, которую я пишу об отце,— сказал Андрей Николаевич.— Истинно глаголю вам: дано печатному слову пребыть не только во времени, но и над временем.

От своего отца, великого знатока русского языка, Андрей Николаевич унаследовал страсть к складному, совершенно особенному слову. Говорил он так образно и так умел находить свои особые слова, что, слушая Андрея Лескова, я представлял себе речь и самого Н. С. Лескова. Надпись писателю Данилевскому на книге была, конечно, занесена на особую карточку в «лесковиану».

Григорію Петровичу Данилевскому

въ первомъ изданіи послѣ

неосновательныхъ раз-

мышленій осенью 1873 года.

Отъ автора.

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИКЪ.

Автограф Н. Лескова на титульном листе его книги

«От всего сердца и помышления реку Вам самое горячее благодарение,— писал мне Андрей Николаевич из Ленинграда.— Заведена новая карточка с точною зарисовкой всей надписи и означением — когда, от кого получена копия и где хранится автограф, точнее — у кого он находится. Мне надпись дает ценное разъяснение к оценке некоторых смежных, по времени, записок отца к другим лицам. Большое спасибо».

Но как же все-таки попала книга в Александрию? И я вспоминаю сентенцию книгопродавца из Куйбышева: «Чему вы удивляетесь? Раньше книги ходили пешком или в лучшем случае ездили в почтовой карете. Теперь они летают на самолете».

Книга, найденная в Александрии, действительно прилетела со мной на самолете в Москву, как и книга Дмитриева из Куйбышева.

— Книги не только летают,— уточнил, выслушав мой рассказ о куйбышевском книгопродавце, Андрей Николаевич.— Они еще прорастают в земле... и тогда проходит очарованный странник и спасает их от погибели.

Герцениана



Есть особая горькая прелесть в герценовских заграничных изданиях. Она горька потому, что воочию видишь, каких трудов стоило Герцену издавать эти книги в Лондоне или Женеве в надежде, что все же проберется его слово через границы николаевской России, дойдет до сердца подневольного человека и заставит его биться сильнее... Я не упускаю ни одного случая пополнить эту герценовскую плеяду книг и сожалею не о том, что

она никогда у меня не будет полной, а о том, что тысячи и тысячи этих выпущенных с таким трудом книг были уничтожены в царской России.

После смерти жены, Натальи Александровны, А. И. Герцен смятенно думал о судьбе и воспитании своих маленьких детей. Он уехал из Ниццы, жил с ними в Лондоне, и здесь в 1853 году одна из почитательниц Герцена — немецкая писательница Мальвида Мейзенбуг — вошла в его дом и занялась воспитанием детей. Обо всем этом широко известно из «Былого и дум», но есть одна страничка отношений Герцена к Мальвиде Мейзенбуг, сохранившаяся в виде его надписи на второй книжке «Полярной звезды» за 1856 год:

«Мальвиде Мейзенбуг для изучения Русского языка. 24. Лондон».

В книжку вплетен и словарик русских слов, написанный рукой Мейзенбуг. Стоит привести список слов, присущих стилю Герцена, особенности языка которого Мейзенбуг, видимо, стремилась изучить: «хлаповень», «булыжник», «посудинки», «востро», «пойду-ка и я тяпну чарочку: вернее будет — скорей согреешься», «шмыгнуть», «обглодок», «шкальчик», «становой», «серчать»...

На другой книжке «Полярной звезды» за 1862 год есть сделанная детской рукой надпись ее владельца: Lise Herzen.

Как известно, судьба дочери Герцена и Тучковой — Лизы была трагическая: семнадцати лет от роду Лиза покончила самоубийством. Но то, что одна из книг «Полярной звезды» принадлежала лично ей, и Лиза, судя по надписи, дорожила ею, напоминает об этой одаренной, не по годам созревшей, со своим сложным внутренним миром девочке.

Авторские надписи зачастую ничего не содержат, кроме вежливого внимания; иногда, однако, они хранят и глубокие приметы отношений. Егор Иванович был старшим братом Герцена. Об отношениях между братьями подробно рассказано в «Былом и думах». Но, может быть, точнее всего отражает эти отношения надпись, сделанная Герценом на оттиске «Кто виноват?» из № 12 «Отечественных записок» за 1845 год: «Егору Ивановичу — Герцен», вот и вся надпись — лаконичная, холодноватая, не выражающая истинных душевных чувств автора.

Герцена всегда окружало множество людей. Одни боготворили его, другие ненавидели, возводили на него поклепы, лгали и клеветали на него по тем или иным причинам, главным образом из-за уязвленного самолюбия. Такова, например, книга В. Кельсиева «Пережитое и передуманное», в которой автор, почти всем обязанный Герцену, не затруднился недобро и уничижительно написать о нем. Эти книжки, связанные с Герценом, я тоже стараюсь подбирать; одна из них, побывавшая у меня в руках, но, к сожалению, не удержанная мной, и до сих пор тревожит меня воспоминанием о ней.

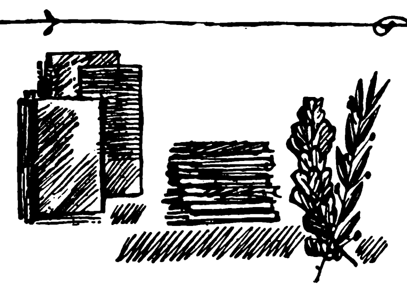
На желтой обложке брошюрки, напечатанной особым высоким шрифтом, значилось ее название: «Плач гения»; под названием изображен был упавший разбившийся колокол. Анонимная эта брошюрка была напечатана в Берлине в 1862 году несомненно при участии 3-го Отделения и содержала мифическую покаянную речь Герцена, обращенную к русскому народу:

«Умираю, добрые соотечественники, достойный народ русский, и к вам с мольбой о прощении обращаю предсмертные слова мои. Простите меня, что перед смертью дерзнул назвать вас соотечественниками — я не достоин именовать себя соотечественником вашим — я беглец с родины, я покинул ее, безумно увлеченный своим самолюбием и тщеславием...» — и так далее в том же гнусном, тупоумном роде.

Не знаю, сколько экземпляров этой редчайшей брошюрки сохранилось, но собиратель книг с удивительным постоянством и неслабеющей памятью хранит в своем сознании все ошибки и промахи, и не по библиофильской жадности, а потому, что любая ошибка — укор его знаниям и опыту, а собирательство книг своего рода мастерство, и дефекты всегда укор мастеру. Я не преувеличу, сказав, что истинный знаток книги может, не взглянув на титул, только по формату или по корешку книги определить примерное время, когда она была напечатана, и если ошибется, то не больше, чем на одно-два десятилетия. Я часто думаю о том, как хорошо было бы открыть в Москве музей русской свободной печати — памятник немеркнущему слову Герцена, историческую звонницу для его «Колокола», вечное эхо его «Голосов из России».



ПОТАЕННЫЕ КНИГИ



В пору моего детства один из студентов-сибиряков, который скрывался у нас на квартире после революции 1905 года, оставил отцу на сохранение большую пачку книг. Отец спрятал эти книги в два нижних ящика большого книжного шкафа с матовыми стеклами и запер ящики на ключ. Я знал, где хранился ключ, и наедине не раз рассматривал эти книги.

Я вижу их перед собой и поныне. Это были тоненькие брошюрки, большинство в глухих обложках из синей плотной бумаги, а некоторые в обложках с напечатанными на них названиями, не имевшими ничего общего с содержанием брошюрок. Я помню мелкий плотный шрифт этих брошюрок, петит или даже нонпарель, чтобы как можно больше втиснуть текста; это были подпольные издания, таинственные, волновавшие мое воображение книжки, из-за которых, может быть, в декабре 1905 года не горело электричество, не ходили конки, не гремели колесами пролетки, и воздух вздрагивал от ударов, называвшихся стрельбой пачками.

Я помню эти книги, я был влюблен в них: несомненно среди них были и книжечки, автором которых значился В. Ильин или К. Тулин... И, может быть,— теперь мне кажется, что я это точно помню — была среди этих брошюрок и тоненькая, отпечатанная на глазурованной бумаге брошюрка «Что такое «друзья народа» и как они воюют против с.-д.» — редчайшая книжка В. И. Ленина, которой, кажется, нет ни в одном хранилище.

После смерти отца эта единственная в своем роде коллекция подпольных изданий, включавшая и книжечки, отпечатанные на гектографе, еще долго хранилась в

ящиках книжного шкафа, а потом она исчезла то ли при переезде, то ли ее отдали кому-то, то ли из опасения сожгли... Но я помню эти брошюрки в немых синих обложках из плотной бумаги, глухих на вид, внутри же у них было пламя, и подросток, тревожимый воображением, трепетал, листая еще непонятные тогда страницы.

Была ли действительно среди этих брошюрок книжка Ленина «Что такое «друзья народа»? Мне иногда представляется, что я видел ее; впрочем, сделаем поправку на время и на то, что иногда воображаешь желаемое. Но книжка могла быть в этом редчайшем собрании, привезенном из Швейцарии, и первому познанию книг, нередко с легендарной судьбой, я обязан именно этим брошюркам, иногда в маскарадной одежде невинного пособия по столярному или переплетному делу.

Эта коллекция осталась в моей памяти связанной с самыми возвышенными представлениями о книге, которой дана сила взрывать мир, строить баррикады на московских улицах, создавать легендарные имена, вроде Баумана или железнодорожного машиниста Ухтомского, и я всю жизнь сожалею, что коллекция этих книг исчезла, может быть, была даже уничтожена.

В сущности, именно с этой поры и началось мое увлечение книгой, выдержавшее уже не одно десятилетие, менявшееся в своих направлениях, но никогда не проходившее совсем. Много книг побывало у меня и ушло в дальнейший путь; менялись возраст и вкусы собирателя, менялись и книги, которые увлекали его. Многие из них мне жаль, и все же больше всего жаль редчайшую коллекцию заграничных и подпольных изданий, открывших на ранней заре моей жизни новый мир для меня.

Несколько лет назад я получил по почте толстый пакет из Свердловска: сестра покойного писателя А. Н. Тихонова-Сереброва, соратника М. Горького и автора прекрасных воспоминаний «Время и люди», прислала мне ряд бумаг Тихонова и писем к нему, с тем чтобы я передал это в одно из хранилищ. Я стал просматривать письма, и одно из них словно обожгло меня: подлинник письма В. И. Ленина Л. Б. Красину по поводу непорядков с распределением бумаги для печатания книг. А. Н. Тихонов в свое время заведовал издательством «Всемирная

литература» и хранил письмо Ленина, касавшееся дел этого издательства, как дорогую реликвию.

Я передал письмо Ленина в Институт марксизма-ленинизма, но пока оно лежало на моем столе, я мысленно перенесся к тем далеким годам, когда подпольные брошюрки приподняли передо мной завесу другой, совсем незнакомой, но полной борьбы и мужества жизни; были среди этих брошюрок, несомненно, не одна из книжек Ленина, но я не знал тогда этого имени, я еще ничего не знал тогда...

ЗАПИСКИ ДЕКАБРИСТА



Декабрист Николай Васильевич Басаргин был женат третьим браком на Ольге Ивановне Медведевой, урожденной Менделеевой, сестре великого русского химика Д. И. Менделеева. Имя Басаргина глубоко почиталось в семье Менделеевых, а дочь Д. И. Менделеева Любовь Дмитриевна, жена поэта Александра Блока, выбрала себе сценическую фамилию — Басаргина.

«Записки Николая Васильевича Басаргина», скорбная и правдивая повесть декабриста о событиях своей жизни, была впервые напечатана издателем «Русского архива» Петром Бартеневым в 1872 году в первом выпуске сборника «Девятнадцатый век». Перед этим в «Русском архиве» в 1869 году Бартенев напечатал «Воспоминания Басаргина об учебном заведении для колонновожатых и об учредителе его генерал-майоре Николае Николаевиче Муравьеве».

Воспоминания Басаргина весьма известны. Их из-



Переплет книги Н. В. Басаргина с надписью П. И. Менделеева

дал в дополненном виде П. Е. Щеголев в 1917 году в «Библиотеке мемуаров» издательства «Огни».

Разбираясь как-то в совершеннейшей завали, выброшенной одним из книжных магазинов на уличный прилавок, под знойное солнце июльского дня, я обратил внимание на истерзанную книжонку, видимо, журнальный оттиск, заключенный в такой же истерзанный мягкий переплет, на крышке которого в овальной кружевной рамке была наклеена этикетка с надписью от руки: «Записки Николая Васильевича Басаргина. Собственность П. И. Менделеева».

Изучив дома эту покупку, я убедился, что оттиск имеет особенности, неразгаданные мной и поныне. Оттиск этот тюремного происхождения. На полях текста чьей-то рукой — возможно, Петра Бартенева — аккуратно восстановлены все пропуски, о которых Щеголев в отдельном издании книги писал: «Записки» увидели свет со значительными сокращениями, допущенными их редактором по соображениям преимущественно цензурным».

Но если даже предположить, что цензурные пропуски восстанавливал в оттиске сам Бартенев, то как объяс-

нить, что многие из этих поправок густо залиты коричневой краской, как это делала в царское время тюремная цензура, когда в письмах из тюрьмы было что-либо нежелательное начальству?

Я взял экземпляр «Записок», выпущенных Щеголевым и воспроизведенных по рукописи, сохранившейся в роду Менделеевых. Многие карандашные поправки в моем оттиске вошли в это издание, а многие стилистические и даже фактические, касающиеся уточнения дат или инициалов, не вошли, и, таким образом, оказалось немало разночтений.

П. И. Менделеев, который написал на переплете, что это его собственность, был родным братом жены Басаргина, а рукопись записок, как свидетельствует П. Е. Щеголев, была ему предоставлена И. П. Менделеевым, то есть сыном владельца. Оттиск этот, хотя и пострадал от времени, хранит зримые следы того, что был своего рода реликвией в роду Менделеевых; он побывал в тюрьме, частично залит краской тюремной цензуры, но мелкие буковки поправок как бы попирают мстительную злобу тюремщиков, они торжествуют над ней.

Книжка, столь тесно связанная с именем декабриста Н. В. Басаргина и со славным родом Менделеевых, не может не волновать, она походит на сгусток истории, и я вспоминаю тот знойный июльский день, когда на уличном развале нашел эту историческую памятку. Восстановленная переплетчиком, она полноправно стоит теперь рядом с «Собранием стихотворений декабристов» и «Записками С. Г. Волконского»; но это просто книги, а судьба оттиска вряд ли будет когда-нибудь разгадана, если этому не поможет какой-либо случай.



СТАРЫЕ КНИЖНИКИ



П. П. ШИБАНОВ

Нет, наверно, ни одного собирателя книг, который не знал бы имени Шибанова. Свыше полувека работал он с книгой, и историю русского книжного дела нельзя представить себе, не вспомнив Павла Петровича Шибанова.

Я познакомился с ним, когда он был уже на закате. Искушенный в книжном деле, познавший книгу на протяжении свыше полувекового общения с ней, он знал о ней все, как знают, скажем, врачи человеческий организм. Свыше полувека занимался он наукой, которая кажется непосвященным чрезвычайно скучной и ограниченной,— библиографией. Библиография — это, помимо прямого ее назначения, наука о судьбе книги. Судьбы книг бывают всякие: трагические, кончавшиеся сожжением или гильотиной — резальным ножом; великолепные по блеску и признанию; горькие по непризнанности; потаенные по редкости и ненаходимости; обидные, когда нераспроданные издания сбывались на вес, или с преувеличенной карьерой, с раздутым успехом, после которого наступали небытие и забвение.

Страсть к описанию книги, к изучению ее судьбы была у Шибанова исключительной. Его «дезидераты», его каталоги за годы работы в «Международной книге», наконец, его оригинальные работы и исследования по книжному делу — это поистине путеводители по лабиринтам русской книги, начиная от палеографического изучения рукописей, первопечатных псалтырей и евангелий, изданных в Кракове или Венеции, и кончая редкими брошюрами начала двадцатого столетия.

Как все книжники, Шибанов был хитер и к чужой любознательности подозрителен. За полувековую свою

работу с книгой он узнал и страстотерпцев библиофилов, и высокопоставленных собирателей, вплоть до великих князей, и заслуживающих почтительного уважения просветителей и знатоков, вроде Ефремова или Барсукова, и нуворишей, отдающих дань очередной моде, будь это мода на первые издания классиков, на путешествия или масонские книги. Своим несколько гнусавым, чаще всего скучающим голосом Шибанов редко кого приваживал; приваживал он только тех, в ком жила такая же, как и в нем, страсть к книге. В этом смысле он был достоин высокого уважения.

Я помню, как покойному московскому собирателю И. С. Остроухову я рассказал как-то, что у Шибанова есть в продаже все восемь глав «Евгения Онегина» в обложках и даже неразрезанные. На другой день московский извозчик привез из Трубниковского переулка на Кузнецкий мост длинную, сутулую, знакомую всей старой Москве фигуру Остроухова. Они встретились с Шибановым, как два коршуна над безгласно простертой перед ними добычей — редчайшим по сохранности первым изданием «Онегина». («Чудный, живой экземпляр»,— как образно определил впоследствии грустным, гнусавым голосом Шибанов.)

— Прослышал я,— сказал Остроухов небрежно, как бы говоря о мелочишке,— что есть у вас «Онегин» в главах... мой экземпляр куда-то завалился.

Шибанов только скучающе втянул ноздрями воздух.

— Да есть-то есть,— сказал он неохотно,— только вам, Илья Семенович, такой экземпляр не годится... Вот, может быть, будет у меня экземпляр в марокенчике эпохи,— хитрил и уклонялся Шибанов.

— Ну, это, батюшка, когда еще будет! — сказал Остроухов резко.— Вы мне этот покажите.

Боже мой, как медлил Шибанов, как не хотел выпустить книгу из рук — не потому, что не желал продать Остроухову, но по благородной жадности книголюба: держать редкость в руках, любоваться наедине, дуть на странички, перелистывая их, а главное — описать в каталоге экземпляр, описать так, чтобы потомки вспоминали, какой экземпляр «Онегина» был в шибановских руках... А описывать он умел — он был книжной сиреной. Слюнки текли у собирателей, когда они читали шибановские аннотации и постскриптумы. «Экземпляр

в роскошном светло-зеленом сафьяне с английским обрезом (золотая головка)»,— мурлыкал он. «С суперэкслибрисом владельца,— приперчивал он,— с атласными форзацами». Или еще последнюю приправу: «Одно из прелестных иллюстрированных изданий начала XIX столетия». «Подносной экземпляр от автора»,— живописал он в другом случае. «Экземпляр исключительной сохранности, необрезанный, с сохранением печатных обложек». Иногда, щеголяя точностью, он добавлял: «Экземпляр хорошей сохранности, только лишь на нижнем поле первых трех листов два незначительных желтых пятнышка, произошедших от времени, свойства бумаги и типографской краски».

Со вздохом он достал экземпляр «Онегина», и цепкие костлявые руки безнадежно ухватили добычу: Остроухов бил с лету, как кобчик. Но тут случилось непредвиденное обстоятельство: нужной суммы у Остроухова с собой не оказалось.

— Да я оставлю за вами,— сказал Шибанов облегченно.

Остроухов мрачно рылся в стороне в своем большом кошельке. Шибанов сохранял невозмутимый вид, дожидаясь только, когда он снова сможет запрятать «Онегина».

— Сто рублей я вам завтра завезу,— сказал Остроухов с усилием.

Он спрятал книжки в карман, и извозчик, дожидавшийся у дверей магазина, повез обратно в Трубниковский переулок согнутую, костистую фигуру Остроухова. Шибанову сразу стало скучно, день для него померк.

— Ну куда же вы ставите книжку! — сказал он кому-то несвойственным ему высоким и раздраженным голосом.

В последние годы Шибанов в трудную минуту расставался иногда с отдельными книжками из личной своей библиотеки. Но он мог расстаться с чем угодно, только не с книгами по библиографии: без них его жизнь стала бы бесцельной. Долгие вечера, справляясь, выписывая на бумажку, сравнивая, изучая, составлял он свои описания, любовно выискивая редкости, особенно если дело касалось любезных ему старопечатных книг, служебников или каких-нибудь номоканонов или октоихов. Но книга жила для него не сама по себе, она

была связана для него с русской культурой. Он восхищался памятниками старины, подобно Михаилу Погодину или Забелину, и был влюблен именно в славянские вязи рукописей, в определение давности по водяным знакам на бумаге в пятнадцатый и шестнадцатый века, когда рождалась книга, в колыбельную пору книгопечатания. Перед хорошей книгой Шибанов благоговел и даже мечтательно затихал.

Я помню, как держал он в руке томик «Анакреонтических песен» Державина с авторскими поправками и стихотворным посвящением жене.

— Жемчужина,— сказал он почти шепотом.— Берегите ее,— как мог бы сказать, выдавая дочь замуж, отец.

Он не позволил мне поставить книжку на полку, а сам поставил ее, почти чувственно ощупав напоследок ее кожаный переплет. Смотря, как руки Шибанова обращаются с книгами, я думал не раз, что даже с завязанными глазами, на ощупь, он определил бы эпоху, когда книга была напечатана, и, пожалуй, приблизительный характер ее содержания. Книгу Шибанов прощупывал. Если огрубить образ этого семидесятилетнего книжника, его можно было бы просто отнести к ряду тех старых букинистов, которые занимались в свою пору книжной торговлей. По отношению к Шибанову это было бы так же несправедливо, как, например, к прославленному роду книжников Клочковых. Все это были книжники-рачители, каждый из них по-своему воспел книгу, каждый из них по-своему ее прославил. Для истории русской культуры люди эти, которые учились на медные пятаки, не исчезли бесследно. Их стараниями составлялись классические библиотеки Погодина, Черткова или Ефремова. Их помощь расширила мир познания литературоведов и историков. Шибанов умел, кроме того, и держать перо в руке. Он написал не одно сочинение о книге, и им же прекрасно написана первая часть воспоминаний, которые — доведи он их до наших дней — достойно могли бы значиться в мемуарной литературе.

— Тороплюсь, тороплюсь — сказал он, свистя бронхами, ероша коротенький ежик волос,— но нет, уже не успею... для этого нужны еще годик-другой.— И тут же, иронически поглядев на меня, добавил: — В общем экземпляр дефектный, отдельных страниц не хватает... только в макулатуру.

К счастью, безнадежная эта эпитафия не оправдалась: обширнейшее собрание книг Шибанова со всеми его исследованиями целиком вошло в фонд библиотеки имени В. И. Ленина.

Д. С. АЙЗЕНШТАДТ

Давид Самойлович Айзенштадт был составной частью старой Москвы. Если представить себе московскую улицу того времени — будь то Большая Никитская или Моховая с рядами букинистических лавок, или Леонтьевский переулок с таинственными закутами антикваров,— то видишь на этой улице слабую, столь немощную, что кажется, ее может снести ветром, фигуру Айзенштадта.

Чуть бочком, подчиняясь остатку бокового зрения в глазах под толстыми стеклами очков, с палочкой, украшенной костяным набалдашником, с набитым портфелем куда-то торопится, беспомощно переходит широкую улицу Айзенштадт. Смотреть на него со стороны всегда было страшно: так плохо он видел, таким казался неприспособленным к растущему движению огромного города. Но влекли его через шумные улицы не только дела и даже не столько дела, сколько потребность увидеть близких ему по склонности и любви к книге людей, подышать воздухом книги, посоветовать любителю или, наоборот, разочаровать его.

Книгу Давид Самойлович любил той чистой, лишенной всякого эстетизма любовью, какая приобретается в результате точного знания внутренней ценности той или другой книги. С этой точки зрения Айзенштадт был к книге, можно сказать, безжалостен. Он развенчивал снобистские оценки и определение ценности из-за редкости книги. Он расценивал книгу только по ее достоинствам. К книге, ценной по своему содержанию, особенно книге иллюстрированной, Айзенштадт относился с особым чувством. Вот, приблизив книгу вплотную к левому глазу, склонив голову, чтобы боковым зрением прочесть заглавие, уподоблялся он ювелиру, который держит в руке драгоценный камень, или садоводу, который любуется на выращенный им цветок. Почти водя по страницам носом, дуя на них, чтобы перевернуть, не касаясь пальцами, он испытывал, казалось, наивысшую

радость. Но часто, однако, он равнодушно откладывал книгу, не прельщаясь ни аннотациями испытанных библиофилов, ни медоточивыми их описаниями. Для него книга должна была прежде всего служить обществу. Он определял ценность книги не по справочникам, а по собственному пониманию, и надо сказать, что он почти никогда не ошибался в оценках; пристрастия его были широки, будь то Радищев (через его руки прошел экземпляр «Путешествия из Петербурга в Москву») или Лафонтен с рисунками Фрагонара... Особенно волновали его книги, подвергшиеся цензурным гонениям или попросту уничтоженные в прошлом.

Но, много зная, Айзенштадт никогда не был самонадеян и зачастую, не доверяя себе, искал дополнительной оценки знатока. Он любил книжные находки, запах старинной бумаги, переплеты восемнадцатого века: здесь Айзенштадт расцветал. Мне приходилось не раз присутствовать вместе с ним при разборе, когда при нас развязывались пачки старых купленных книг, и, ничего не покупая, ничего не собирая, ничем не прельщаясь лично, Айзенштадт расцветал от возможности первичного общения с книгой, еще не занявшей места на полке Книжной лавки писателей, забывал часы обеда, и, право, можно сказать, что в такие дни бывал он счастлив.

Единственно, о чем он никогда не забывал,— это о знакомых ему собирателях книг. Сколько раз откладывал он для кого-нибудь ту или иную книжку, рекомендовал приобрести, указывал, где он видел такую-то книжку, и радовался, что книга попадет именно тому, у кого она должна находиться. Он не выносил эклектических библиотек, собранных не при помощи рвения или самоотречения, а при помощи денег, и равнодушно отворачивался от превосходных экземпляров, считая, что они стоят не там и не у того, у кого должны быть.

Кто из московских книжников, встречая Айзенштадта, не радовался встрече с ним! Для него всюду находилось почетное место, с ним советовались, ему показывали находки и редкости. У него была превосходная память и острый ум; он хорошо владел пером и написал не одну статью о книгах. Давно пережив все стадии коллекционерства, он был неравнодушен, пожалуй, только к книжным курьезам и к тому, что так или иначе связано с историей книги.



М. И. Шишков и Д. С. Айзенштадт в Книжной лавке писателей

На протяжении ряда лет он был основным, цементирующим началом для московских книжников. Кружок любителей книги, книжные аукционы, секция книговедения при Клубе московских писателей, книжные базары, частные встречи книжников — Айзенштадт обладал удивительным свойством слеплять эти книжные гнезда, и его всегда можно было видеть, выражаясь образно, то с перышком, то с веточкой в клювике, всегда что-то задумавшего связанное с книгой, всегда куда-то спешащего, превосходного собеседника, особенно если беседа застольная, с неизменной трубочкой, глубоко чувствующего книгу как одно из замечательных созданий человеческого гения, собирателя всех изречений и мыслей о книге, где бы и когда бы они ни были высказаны.

Времена идут, растут или тают библиотеки отдельных собирателей, меняется облик московских улиц, кочуют книги с экслибрисами бывших владельцев. Но для тех, кто любит книгу и предан ей, образ Д. С. Айзенштадта не уходит в прошлое... Не одна книга, стоящая на моей

книжной полке, связана с памятью о добрых советах Айзенштадта, а это уже составная часть биографии книги, и хорошо, что книги неизменно связаны с памятью о тех, кто помогал собирать их... с памятью о людях, преданных книге и бескорыстно любивших ее.

СОБИРАТЕЛЬ РОЗАНОВ

В стене рабочей комнаты Ивана Никаноровича Розанова был вырезан широкий прямоугольник. Он был обращен в сторону смежной комнаты, где помещалось редчайшее, вероятно, единственное в Москве собрание книг по поэзии.

Самую высшую радость Иван Никанорович испытывал, несомненно, тогда, когда зажигали свет и эффект сверкающих книг восемнадцатого и девятнадцатого столетий поражал посетителя. Сам он часами сидел на низеньком диване под этим прямоугольником, любуясь трудом своей жизни, воплощенным в собрании книг, влюбленный в поэтическое слово с таким детским простодушием, что это трогало даже тех, кто не очень интересовался поэзией.

На протяжении десятилетий создавал Розанов свою замечательную библиотеку. Для него не было на необъятном поэтическом поле лишь изысканных цветов, он собирал и скромнейшие полевые цветы, и чем скромнее и незаметнее был цветок, тем бережливее укладывал его Розанов в свой гербарий. В этом была не только любовь к книге, но и сочувствие к личности безвестного сочинителя с его зачастую нелегкой судьбой.

Любя книги, Иван Никанорович испытывал большую любовь и к их собирателям: он хорошо знал, что собирательство связано со многими годами поисков, удач, ошибок и разочарований и что оно требует одержимости.

«Мне очень приятно, что моя книга находится сейчас у человека, у которого та же страсть к собиранию интересных и ценных книг»,— написал он мне на одной из своих книг.

Его небольшая, как-то по-старомосковски убранная профессорская квартира на улице Герцена была своего рода штабом поэзии. На командном мостике — низеньком диване, под иллюминатором, обращенным к морю

поэзии,— не побоимся этой несколько примитивной образности — сидел восьмидесятитрехлетний старик, весь устремленный мыслью к поэтической речи.

От книг Ломоносова и Тредьяковского до символистов и футуристов и до наших современников — советских поэтов — все было представлено в его библиотеке, прекрасной не только своим подбором, но и освещенной светом горячей любви к поэтическому слову, любви почти фанатической.

Показывая свои книги, Иван Никанорович доставал обычно с полки не книжечку стихов того или другого прославленного поэта, а книжечку какого-нибудь безвестного стихотворца, вроде Алипанова или суриковца Козырева, казалось, навсегда затерянных, но найденных Розановым, возвращенных им к жизни и полвека или даже целый век спустя вступивших снова в строй... Розанов, казалось, хотел этим напомнить, что маленькому поэту всегда труднее приходилось в жизни и нельзя допустить, чтобы его уделом было и посмертное забвение.

Московские букинисты хорошо знали Розанова и всегда, по благородному свойству истинных книжников, бывали довольны, когда та или другая редкая книга попадала в его собрание. В сущности, и их труды лежат в основе того блистательного зрелища, которым Розанов любил поразить посетителя: золото корешков его книг и поныне сияет во славу многих книжников, помогавших Розанову собрать превосходную библиотеку.



БУКИНИСТ МАТВЕЙ ШИШКОВ

В двадцатых годах в Москве у тележки с книжным развалом можно было увидеть невысокого, горбатенького, с несколько мясистым лицом и умными глазами букиниста; звали его Матвей Шишков. Матвея Шишкова знала вся книжная Москва, как знают прославленного тенора. Певцом в книжном деле Шишков был замечательным. В детстве он гонял мальчиком на побегушках, служил у старого букиниста Леонова, торговавшего на Арбате, у него же заработал горб, надорвавшись под тяжелыми пачками книг. Истинного книжника отличает талант. Талант в книжном деле — то же, что и музыкальность. Матвей Шишков чувствовал книгу. Человек он был необразованный, как и большинство русских книжников в прошлом. Но, держа в руках книгу, перелистывая ее страницы, он, казалось, вместе с запахом старой бумаги вдыхал и потаенную особенность книги, он ее чувствовал, он ее понимал. На примере Шишкова можно бы рассказать, что такое талант книжника.

Шишков брал иногда в руки книгу, которую несомненно не знал. Взглянув на титул, он видел только, что книга напечатана, скажем, в начале прошлого века. Но в начале прошлого века вышло великое множество пустых, ненужных, навсегда сошедших книг — какие-нибудь повести третьестепенных авторов или упражнения в стихотворстве бездарных поэтов. Как же, не зная библиографии, все же угадать редкую книгу? В этом немалую роль играла интуиция. Заподозрив, что книга редка, Шишков, так сказать, брал ее на заметку: он

справлялся о ней, въедался в библиографию Сопикова или в каталоги Шибанова; но он мог и по своему пониманию отнести ту или другую книгу к числу редких, и при этом почти никогда не ошибался.

— Гм...— усмехнулся он как-то на мой вопрос, чем руководствуется он иногда при определении редкости книги.— Ведь если видишь интересную женщину, не нужно справляться у других, действительно ли она интересна. Кстати, она может быть для других и неинтересна, а для меня интересна. Так же и с книгами. Иногда в первый раз увидишь книгу, ничего о ней не знаешь, а весь внутренне затрепещешь... и, знаете ли, редко ошибаешься.

Но он мог иногда ошибиться все же, недооценив книгу. Однажды он очень дешево, прямо-таки бросово расценил одну маленькую старинную книжечку.

— Книжечка пустяковая, Матвей Иванович,— сказал я ему.— Издание археографической комиссии... какой-то там «Россиянин прошедшего века».

— Потому-то и дешево, что никому не нужна,— ответил он наставительно.

— А мне вот нужна... это редчайшее первое издание Посошкова с прибавлением отеческого завещательного поучения, посланному в дальние страны сыну. Даже два тома Посошкова, изданные много позднее Погодиным, и те сейчас редки.

— Позвольте-с,— сказал Шишков, сразу помрачнев.

Он взял из моих рук книжку и прочел незамеченное им при расценке имя Посошкова, несколько задетое библиотечной печатью.

— Да-с,— сказал он невесело, возвращая мне книжку.— Случается. Мне не жалко, что вы дешево купили ее, я этому даже радуюсь. А я вот сделал промашку, и хорошо, что книга попала к вам, а могла ведь за бесценок уплыть в сторону.

Как истинный книжник, он дорожил судьбой книг и всегда старался, чтобы книга попала в надежные руки.

Придя ко мне, уже незадолго до смерти, после многолетнего отсутствия, он благоговейно оглядел книги в моих книжных шкафах. Он узнал некоторых старых знакомцев, он никогда не забывал о них, хранил их в своей памяти, как хранят встречи с хорошими людьми;

он только поднял застекленную дверцу одной из полок и провел рукой по корешкам, он мысленно пожимал руку старым знакомцам.

Маленький горбун любил книгу возвышенной любовью, хотя и прошел торгашескую школу, где учили ценить книгу прежде всего как товар.

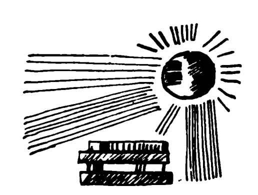
— Какой же это товар,— сказал он раз не то грустно, не то иронически.— Люди иногда с ума сходят от тоски по книге... вот Щапов захирел и помер, когда у него пропал экземпляр «Путешествия» Радищева. Какой же это товар!

Матвей Шишков относился к ряду тех малообразованных, но глубоко одаренных книжников, которые, мало зная, много понимали и крупицу за крупицей создавали целые библиотеки, довольные тем, что частица их труда есть в этих книжных собраниях. Он уважал книголюбов, ценил их страсть, их готовность поступиться многими радостями жизни ради книги.

— А письма Пушкина у вас целы? — спросил он обеспокоенно в свой последний приход ко мне.

Я порадовал его, показав на три тома писем Пушкина — дар, полученный мной в свое время от Матвея Шишкова и Давида Самойловича Айзенштадта в одну из юбилейных годовщин. Шишков успокоился и ушел от меня удовлетворенный, что труды его не пропали.

Вскоре я узнал, что Матвей Иванович Шишков умер. Он умер, простившись с книгами, которые в свое время прошли через его руки, насладившись в последний раз созерцанием мерцающих золотом корешков, хотя его заветная мечта вернуться к букинистическому делу не осуществилась.



ПИСЬМА НАТАЛИИ ГОНЧАРОВОЙ



Однажды, уже в давние времена, ко мне пришел в номер гостиницы в городе Ростове Ярославском старый книжник Андрей Андреевич Молодцыгин. Мы с ним поддерживали дружеские отношения. Впрочем, книжником он был в такой же степени, как и антикваром — любителем старины, особенно ростовской финифти, расписных изразцов старинных печей и лежанок; у меня и поныне хранится несколько таких изразцов, разысканных и присланных мне Молодцыгиным, с надписями под изображениями: «Смотрю на цвет сей» или «Сие мне угодное...», в зависимости от того, изображена ли на изразце девица, нюхающая цветок, или бегущий юноша с вазой, похожей на амфору, в руках.

Молодцыгин был человеком несколько цыганского облика, с копной черных седеющих волос и густейшей бородой.

— Пушкиным интересуетесь? — спросил он меня, не успев поздороваться.

За окном моего номера совсем близко золотели луженые маковицы соборной звонницы со знаменитым колоколом «Сысоем». Я ожидал, что Молодцыгин достанет из кармана какое-либо первое издание Пушкина, но он сел на стул напротив и, глядя на меня в упор своими чернейшими, под чернейшими бровями, глазами, сказал:

— Шесть писем Наталии Гончаровой к Пушкину.

— Они у вас? — спросил я после паузы, справившись с дыханием, ибо истинный собиратель должен во всех случаях соблюдать спокойствие, хотя бы и мнимое.

— С собой...— усмехнулся Молодцыгин.— Разве такие вещи бывают в кармане. Добыть надо эти письма. В Ярославле.

От Ростова Ярославского до Ярославля было в ту пору несколько часов езды.

— Конечно,— сказал Молодцыгин,— если вы раздобудете эти письма, то меня не забудете...

И он рассказал, как и где нужно искать эти письма. Под Ярославлем, по другую сторону Волги, есть большое село, в котором живет женщина под фамилией Ослябина. Покойный муж этой Ослябиной был любителем старины, вдова его в таких делах ничего не понимает, но осторожна. Следовательно, письма Наталии Гончаровой к Пушкину нужно добыть с умом, иначе женщину можно насторожить и писем она не продаст.

Молодцыгин говорил вполголоса, таинственно, как бы давая понять, в какое величайшее дело посвящает меня: конечно, письма Наталии Гончаровой, вероятно неопубликованные, на улице не валяются, и день спустя я уже был в Ярославле. Стоял август с той палящей жарой, какая нередко бывает в эту пору на Волге. В Ярославле не существовало еще нынешней благоустроенной набережной, откос над Волгой зеленел травой, и по другую сторону реки и тянулось то большое село, в котором жила владелица писем Гончаровой.

Волжские села обычно расположены так, что главная улица растягивается вдоль Волги иногда на несколько километров. В этот знойный августовский полдень улица была совершенно пустынна, только куры, изнеможенно раскрыв клювы, лежали в серой пыли, и даже от реки, казалось, исходил зной, а не прохлада. Я долго не встретил ни одного человека на улице. Наконец, я увидел женщину с ведрами.

— Ослябина? — переспросила она.— Это, должно быть, дом тридцатый отсюда, по левой стороне. Так и идите пряменько.

И я пошел пряменько, миновал тридцать бесконечных домов с бесконечными палисадниками и опять не встретил ни единого человека. Я подошел к одному из домов, из окна которого на меня смотрела старуха.

— Бабушка,— спросил я,— не знаете ли, какой дом Ослябиной?

— Ослябиной? Что-то такую фамилию я и не слыхала. Может, Осафьева?

Я достал записную книжку и прочел фамилию, записанную со слов Молодцыгина.

— Да нет, Ослябина.

— А зовут ее как?

Имени женщины старый книжник не знал.

— А...— сказала старуха вдруг,— знаю. Идите пряменько... дойдете до колодца, так за ним третий дом.

И я снова пошел пряменько, до колодца оказалось с добрых полкилометра, и дом Ослябиной действительно был третий от угла, сонный, разогревшийся от зноя и, казалось, необитаемый дом. Я открыл калитку палисадника и поднялся по ступенькам. Пожилая, гладко причесанная на прямой пробор женщина открыла мне дверь.

— Простите,— сказал я.— Не вы будете Ослябина... не знаю вашего имени и отчества.

— Я Ослябина,— ответила женщина выжидательно.

— Видите ли,— сказал я по возможности беспечно и весело,— я неисправимый книжник, люблю старые книги... мне в Ярославле сказали, что ваш муж тоже любил книги и собирал их. Может быть, вы что-нибудь не откажетесь уступить мне.

Я даже побоялся произнести слова «продать». Женщина минуту помолчала.

— Заходите.

В доме было как в духовой печке, и он весь жужжал, как улей, от мух. Я почувствовал, как пот стекает по моей шее, и изредка даже мотал головой, чтобы стряхнуть со лба капли: письма Наталии Гончаровой, как всякий клад, давались мне нелегко.

— Какие же книжки вас интересуют? — спросила женщина.— Покойный мой муж был действительно любителем книг. Только книг я вам показать не могу.

— Почему же? — спросил я, наверно, именно тем голосом, каким говорил Чичиков.

— Они на чердаке лежат, а там пыль, да и в голубином помете всё.

— Помилуйте,— сказал я тем же голосом,— для настоящего книжника пыль только приятна... зна-

чит, к книгам давно никто не прикасался и они ждут ценителя.

Женщина поколебалась.

— Ну, что ж... не боитесь пыли, полезайте на чердак.

Если в доме было как в духовой печке, то на чердаке под железной крышей — уже как в доменной печи. Книги лежали в большой бельевой корзине. Все было покрыто голубиным пометом, пухом и перьями, а пыль оказалась тяжелой, как тальк, она не оседала, а, поднявшись, плотно стояла в воздухе. Женщина ревниво и настороженно следила за мной, пока я откладывал книги. Сверху лежали разрозненные томики классиков в приложении к «Ниве», Шпильгаген, исторические романы Мордовцева и Салиаса, пухлые тома Валишевского, русская история Иловайского, сборник тригонометрических задач Рыбкина, «Родная речь», огромные волюмы «Живописной России», и у меня создалось впечатление, что покойный Ослябин не столько собирал книги, сколько подторговывал ими. Ни одной сколько-нибудь стоящей книжки, не говоря уже о письмах, в корзине не оказалось. Но я не мог ничего не купить, чтобы окончательно не разочаровать женщину.

— Эту книжку я взял бы,— сказал я нерешительно, подумав тут же, что́ стану я делать с «Введением в биологию» Лункевича.

Женщина взглянула на титул.

— Книжка редкая,— сказала она безоговорочно.— Муж ею дорожил.

— Ну, не такая уж редкая...— сказал я.— Но я ее купил бы. Во сколько вы ее цените?

— Сто рублей,— сказала женщина поколебавшись.

Это была цена десяти или даже двадцати экземплярам книги Лункевича. Я ничего не ответил: современная Коробочка явно дорожила мертвыми душами. Пот тек по моему лицу, и я плохо видел, так как из-за пыли пот стал тестообразным.

— А нет ли у вас каких-нибудь писем? — спросил я тем же чичиковским голосом.— Знаете ли, письма я бы, пожалуй, даже охотнее купил.

— Каких же вам писем? — удивилась женщина.

— Ну, знаете, разные там письма, особенно старинные... ведь письма всегда помогают понять, как люди жили в свою пору.

— Какие же могут быть у меня письма?— ответила женщина так, словно мы оба разыгрывали сцену из «Мертвых душ».— Есть у меня письма от свояченицы... да они вам неинтересны, и неловко как-то их продавать.

— Отчего же — неловко: письма вы прочитали, они вам ненужны... а я, может быть, книгу напишу.

Мы спустились с чердака, и на меня сразу налетели все мухи, какие были в комнате: я был покрыт соблазнительным тестом из пыли и пота. Женщина ушла в соседнюю комнату, и я ждал. Я ждал той минуты, когда в незрячих руках мелькнут синеватые или, может быть, плотные белые листы старинной бумаги, исписанные женским почерком, скорее всего по-французски, заряд картечи, который заставит вздрогнуть наших пушкинистов. Женщина вернулась с перевязанной розовой ленточкой пачкой писем. Я развязал их: письма, все до одного, действительно, оказались письмами свояченицы, некой Клавдии Петровны, смиренно подписывавшейся: Клава.

— А где у вас письма Наталии Гончаровой? — спросил я напрямик.— Продайте мне эти письма.

— Кого? — переспросила женщина.— Я что-то такой и не знаю.

Я заподозрил уловку.

— Наталии Гончаровой, ставшей женой великого поэта Пушкина.

Женщина была явно озадачена.

— Откуда же у меня могут быть такие письма? Мы в родстве не состояли, девическая моя фамилия — Коростелева, да и у мужа таких родственников не было. Я всю его родню знаю.

Мне незачем было покупать за сто рублей биологию Лункевича. Я измерил в обратный конец все волжское село, кляня Молодцыгина с его сведениями.

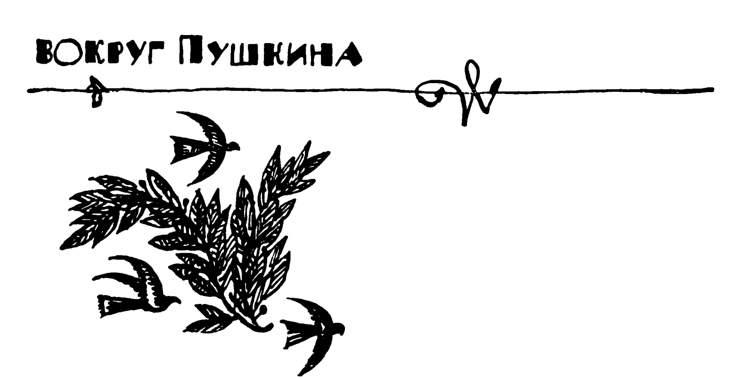
Несколько месяцев спустя, когда я снова увидел его и рассказал о своей экскурсии, Молодцыгин задумался всего лишь на один миг.

— В Арзамас надо ехать,— сказал он решительно.— Значит, письма в Арзамасе.

В Арзамас я не поехал. Откуда взялась легенда о письмах Гончаровой — не знаю. Но биография любого собирателя была бы неполной, если бы в ней не было

событий — иногда смешных и нелепых, иногда грустных, иногда разочаровывавших, а иногда радующих находками, открытиями, а главным образом — ощущением, что спас что-то, чему суждено было погибнуть или затеряться в безвестности. Это относится не к пополнению своего книжного собрания, а к крупицам культуры, которые именно книголюб подбирает, и в огромном большинстве случаев — для всех, а не только для себя.

ВОКРУГ ПУШКИНА



Глядя на три тома писем Пушкина в своем шкафу, я всегда вспоминаю последнее посещение Шишкова. Три тома писем Пушкина были изданы в 1906 году Академией наук. Письма, особенно обращенные к ближайшим друзьям, были написаны без малейшего затруднения в выражениях.

Академия наук выпустила эти письма с купюрами, обозначенными многоточиями. Но в нескольких экземплярах — едва ли больше десяти — письма Пушкина были изданы без купюр, лишь для академиков. Одним из таких экземпляров владел пушкинист и историк Павел Елисеевич Щеголев; есть в этом экземпляре его карандашные пометки.

Книжники хорошо знают редчайшее издание писем Белинского без пропусков; но письма Пушкина без пропусков, иногда с ядом горечи, иногда с язвительностью великого эпиграммиста, хранят как бы живую его речь, и можно понять, почему Матвей Шишков в первую очередь обеспокоенно спросил, целы ли у меня эти книги.

Письма Пушкина стоят у меня рядом с его прижизненными изданиями и еще с одной книжкой, до сих пор неразгаданной, хотя она у меня много лет, и ни один пушкинист, разглядывая ее, не высказал окончательного о ней суждения.

Как-то в одном из букинистических магазинов я купил книжку, ослепившую меня надписью на ее первой странице. Стремительный росчерк гусиным пером в такой степени показался мне сделанным рукой Пушкина, и по всему смыслу это в такой степени могло быть надписью Пушкина, что и поныне ни одно сомнение пушкинистов не разубеждает меня в первоначальном предположении.

Книжка эта — «Душенька» Богдановича издания 1809 года. На книге надпись чернилами: «Из книг Чернышева»,— сделанная несомненно владельцем. Но под надписью владельца и под печатным названием «Душенька» следует и другая надпись: «коей дарит барона А. П.». Как известно, повести Белкина подписаны инициалами Пушкина, именно «А. П.», а лицейская кличка А. Дельвига была «барон»; только крышечкой над буквой «П», характерной для росчерка Пушкина, в данном случае служит типографская линеечка.

Имение Чернышевых, родителей будущего декабриста Захара Григорьевича Чернышева, помещалось близ имения владельца Полотняного завода А. Н. Гончарова, дедушки жены Пушкина. Пушкин бывал на Полотняном заводе, широко пользовался библиотекой Гончарова, а возможно, и Чернышевых. В одной из корреспонденций, напечатанной в 1949 году в газете «Вечерняя Москва»— «В бывшем имении Гончаровых», автор пишет: «Имеются рассказы, указывающие, что Пушкина видели однажды несущим ворох книг из красного дома в большой». Возможно, что были в этом ворохе и книги из библиотеки Чернышева. Прямой домысел, продиктованный несомненным сходством надписи на книге «Душенька» с почерком Пушкина, подсказывает, что книга из библиотеки Чернышева могла остаться у Пушкина, а когда Чернышев в числе других декабристов был сослан в Сибирь, Пушкин на память о Чернышеве подарил его книгу со своей надписью А. Дельвигу.

В литературе известно, что кличка «барон» принадлежала Дельвигу еще с лицейских времен; но была такая кличка и у декабриста барона Владимира Штейнгеля.

Когда пушкинисты усомнились в надписи Пушкина, хотя и признали значительное сходство с его почерком, я высказал другое предположение: может быть, книга, принадлежавшая Чернышеву, была подарена на память о нем декабристу барону Штейнгелю декабристом А. Поджио, у которого она могла случайно оказаться; тогда совпали бы первые буквы имени и фамилии Поджио. Но знатоки истории декабристов в этом предположении усомнились.

Так она и стоит у меня на полке, эта книга со своей нераскрытой судьбой, и все же мне хочется думать, что на ней надпись Пушкина, притом не случайная, а связанная с судьбой декабристов. На корешке книги внизу есть две маленькие буковки: «А. П.» — инициалы владельца книги. Я запросил Пушкинский Дом, где хранится библиотека Пушкина, есть ли такие буковки на его книгах; таких буковок не оказалось. А если Пушкин специально для подарка, полного внутреннего значения, отдал переплести книгу, принадлежавшую Чернышеву, и распорядился поставить свои инициалы на корешке? Ведь книга, судя по надписи, принадлежала Чернышеву, и тогда совершенно естественно, что на корешке должны бы быть буквы «З. Ч.» или, если иметь в виду отца декабриста, то «Г. Ч.».

Переплетчик не сберег для нас этой тайны, он только направил по верному пути домыслы потомка; может быть, и пушкинисты согласятся когда-нибудь со мной, что Пушкин одушевил «Душеньку», заключив в своей короткой надписи на ней целую эпоху.



ТЮМЕНСКИЙ «ОБРЫВ»



Жизнь И. А. Гончарова была трудной и мучительной; в основном этому были причиной особенности характера Гончарова. Но, пожалуй, по-настоящему трагическая пора наступила для него, когда в 1869 году в журнале «Вестник Европы» был опубликован его роман «Обрыв». Роман вызвал множество откликов, многие из них были в такой степени резки, что при мнительности и мизантропии Гончарова могли бы его окончательно добить.

«Что такое Райский? Изображается по-казенному псевдорусская черта, что все начинает человек, задается большим и не может кончить даже малого. Экая старина! Экая дряхлая, пустенькая мысль, да и совсем даже неверная»,— писал Достоевский в письме к Н. Н. Страхову. «Ну, батюшка, читаю я продолжение «Обрыва» и волосы у меня вылезают от скуки. . . И что за несчастная фигура Райский!» — писал Тургенев Н. В. Анненкову. «Даже свою Веру Гончаров уже успел испортить: и она рассуждает и переливает из пустого в порожнее»,— писал Тургенев в другом письме к Я. П. Полонскому.

Но интерес к роману был тем не менее огромный: редактор журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевич сообщал поэту А. К. Толстому: «О романе Ивана Александровича ходят самые разноречивые слухи; но все же его читают и много читают. Во всяком случае, только им можно объяснить страшный успех журнала: в прошедшем году, за весь год, у меня набралось 3700 подписчиков, а ныне, 15 апреля, я переступил журнальные Геркулесовы Столпы, т. е. 5000, а к первому мая имел 5700».



Титульный лист книги М. Знаменского

В 1870 году появилось первое отдельное издание «Обрыва», и в ту же пору, примерно в 1875 году, в Тюмени вышло одно издание, о котором я ни разу не встречал упоминания в библиографической литературе. Это сборник карикатур с подписями под ними, зло направленными против романа Гончарова. Книга вышла в издании Высоцкого и Тимофеенкова, карикатуры принадлежали художнику М. Знаменскому; отпечатана книга была в Тюмени в типографии

К. Высоцкого, хотя цензурное разрешение помечено С.-Петербургом, 19 марта 1875 года.

На титуле книги сатирически изображены персонажи романа, а сам титул такой: «Обрыв». Роман классический, картинный, отменно длинный, длинный, длинный и сатирический и чинный». Далее следует 59 страниц с карикатурами на персонажей и на эпизоды романа, с подписями под ними.

«В одном приволжском городке открыл я рукопись, склеенную из миллиона лоскутков. История этой рукописи следующая: несколько лет тому назад, во время проезда начальника губернии через городок этот, из окна того дома, где изволил остановиться Его Пр-во, вылетела куча рваной бумаги, на которую и бросились обывательские куры со всех сторон, приняв за какую-то куриную крупу эти, как снег, посыпавшиеся обрывки бумаги. Находившийся же по соседству исправник обрывки эти принял за изорванные Его Пр-вом доносы на него, исправника, и, со свойственным ему самоотвержением, отважно вступил в ожесточенную борьбу с курами и успел спасти многое. Обрывки эти оказались сказанием о жизни некоего художника Бориса Райскаго.

Я воспользовался этой рукописью, иллюстрировал ее и, предлагая читателю, долгом считаю объяснить, что если ему встретится какая-нибудь недомолвка или недостаток связи, то причиной тому обывательские куры, успевшие поклевать многое.

Мих. Знаменский».

Вступление это идет под заголовком: «Нечто вроде пролога». За ним следуют весьма обидные карикатуры в духе известных карикатур Н. Степанова, с подписями, перефразирующими отдельные места из романа. Заключает серию этих карикатур изображение путевого столба с надписью: «Русские девы, не принимайте ошибки за образец и не скачите как козы с обрывов», и далее изображен путник с палитрой, привязанной на спине и подписью под рисунком: «Борис Райский, разыгрывая из себя болвана, понял, что природа создала его именно для делания болванов, и отправился за границу учиться скульптуре».

В 1954 году в Тюмени вышла отличная книжка П. И. Рощевского «Воспитанник декабристов художник М. С. Знаменский». В книжке рассказана история жизни

этого примечательного художника, рассказано и о том, как он создал альбом своих карикатур «Обрыв». Разделяя критику передовых писателей того времени, в том числе и Салтыкова-Щедрина, художник Знаменский, автор ряда остросоциальных карикатур, также по-своему подверг роман критике, направив острие своих сатирических рисунков против бездейственного Райского и других персонажей романа.

Следует надеяться, что это тюменское издание не дошло до Гончарова; оно несомненно обидело бы и еще больше огорчило и без того близко принимавшего к сердцу неудачи, мнительного и одно время даже потерявшего веру в себя писателя.

«ВЕНОК» И «ШАПКА»



Иван Александрович Гончаров был стар, одинок и печален. Помимо этого он страдал манией, что его хотят обездолить другие литераторы, заимствовать его темы, подглядеть его бумаги. Даже люди, близкие к Гончарову и оберегавшие его — А. К. Толстой или издатель М. М. Стасюлевич,— приходили в отчаяние от его характера. Характер у Гончарова был действительно трудный, причинявший страдания прежде всего самому Гончарову.

«По вечерам простокваша и скука, утром скука без простокваши, я радуюсь сну, как другу, брату, как любовнице! Старичок (т. е. я), очевидно, слабеет, понемногу весь выходит, словом, тает. Я смотрю в зеркало, в ванне, на себя и ужасаюсь: я ли этот худенький, желто-зелененький, точно из дома умалишенных выпущенный на руки родных, старичок, с красным слепым глазом, с скорбной

миной, отвыкший мыслить, чувствовать и способный только просить пить, есть, и много-много что попроситься на двор — а! а! а! Ужас!» — безжалостно написал о себе Гончаров в июне 1883 года А. Ф. Кони из Дуббельна.

Незадолго до этой поры ближайшие друзья Гончарова, издатель журнала «Вестник Европы» Михаил Матвеевич Стасюлевич и его жена Любовь Исаковна, пригласили Гончарова встречать у них новый, 1882 год. Несомненно, судя по воспоминаниям о Гончарове той поры, он долго отнекивался, ссылался на недомогания, на отвычку от общества. Но Стасюлевичам удалось уговорить старика, и он все-таки пришел к ним в новогодний вечер. Вероятно, его встретили восторженно, согрели, обласкали. Во всяком случае, на выпущенном новом издании «Обломова» Гончаров сделал ровно год спустя слабым стариковским почерком такую надпись:

«Дорогой приятельнице Любови Исаковне Стасюлевич 31 декабря 1883 г. благодарный от души и сердца за венок, сплетенный ею **31 декабря 1882 года**, и неизменно преданный автор».

Наверно, для Гончарова не только сплели в новогоднюю ночь венок, но и торжественно возложили на его голову, и целый год Гончаров не забывал этого, подчеркивая именно в датах свою благодарную память... Он был очень одинок, очень болен, старый писатель.

«Добавлю, что я очень плох, буквально еле хожу и еще буквальнее ничего не ем и все ненавижу! Видно и мне приходится собираться в безвозвратный путь в одну из петербургских окраин»,— написал он меньше года спустя, в сентябре 1884 года, тому же М. М. Стасюлевичу.

Почти такого же рода надпись есть на книге замечательного писателя В. Ф. Одоевского: «Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою магистром философии и членом разных ученых обществ, изданные В. Безгласным». Безгласный — псевдоним В. Ф. Одоевского, а его надпись на книге следующая:

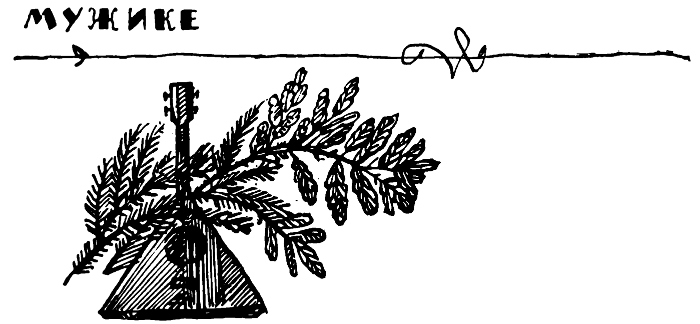
«Дарье Николаевне Кошелевой в изъявление благодарности за все ея милости вообще и за прекрасную шапку в особенности от Сочинителя. 1833. Спб.».

На Дарье Николаевне, дочери французского эмигранта Дежарден, был женат вторым браком Иван Родионович Кошелев. Их сын Александр служил в архиве Министерства иностранных дел вместе с Веневитиновым, Соболев-

ским, братьями Киреевскими, Шевыревым, В. Ф. Одоевским, с которым был связан дружбой. Шапка, может быть, была тоже новогодним подарком.

Так хранят иногда надписи на книгах не только следы отношений писателей к тому или другому лицу, но и приметы событий, зачастую интимных и личных, приоткрывающих, однако, эпоху и дающих возможность прочесть гораздо больше, чем это заключено в самой надписи. Венок, сплетенный рукой Л. И. Стасюлевич Гончарову, и шапка, подаренная В. Ф. Одоевскому Кошелевой,— это почти материализованные приметы времени и отношений, глубоко располагающие к тем, кто так хорошо понимал впечатлительное существо писателя, отзывчивого к любому проявлению дружбы и внимания: и Гончаров и Одоевский, судя по их надписям на книгах, это прочувствовали.

ПЕСНЯ О КОМАРИНСКОМ МУЖИКЕ



В Ярославле, на улице Трефолева, на доме, в котором жил поэт Л. Н. Трефолев, есть мемориальная доска: «В этом доме жил в 70-х годах XIX века известный поэт и историк Ярославского края Леонид Николаевич Трефолев».

Недавно побывав в Ярославле, я остановился в раздумье перед этой доской. Есть имена поэтов, просиявшие в свою пору, оставшиеся в памяти читателей и в истории литературы, хотя их песни никогда не были народными. Но есть и такие поэты, песни которых широко уже добрых полвека или даже целый век поет народ; песни, которые сроднились с историей нашего народа, стали поистине

народными песнями, но имена тех, кто создал эти песни, или позабыты совсем, или звучат глухо, притушенно, потому что история литературы не выдвинула их, а лишь констатировала наличие того или другого поэта в ту или иную эпоху.

Глядя на доску с именем Трефолева, я вспомнил о его судьбе. Он жил в Ярославле, его поэтическим учителем был Некрасов; Трефолева знал Чехов и переписывался с ним. Трефолев оставил всего один том стихотворений, вышедший впервые в 1894 году и переизданный в наше время в Ярославле. Есть в этом томе стихи сильные, хорошие; есть менее сильные, как это свойственно каждому поэту. Но в томе этом есть и одно стихотворение, которому суждено было покорить время,— «Песня о комаринском мужике». Если говорить о скорби и сострадании, о надеждах и прозрении лучшего будущего, то песня Трефолева вобрала все это в себя, и если бы Трефолев написал лишь одно это стихотворение, то и оно открыло бы ему путь в большую литературу.

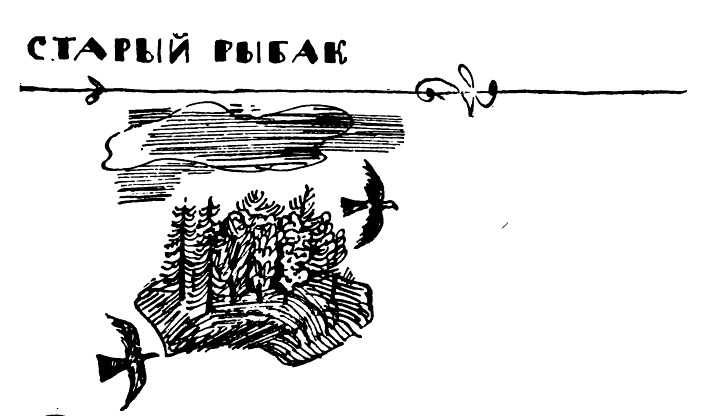
Подобно Трефолеву, поэт А. А. Навроцкий (Н. А. Вроцкий), автор «Русских былин и преданий в стихах», остался в литературе тоже благодаря одному стихотворению — «Утес Стеньки Разина». Я не хочу этим умалить многое другое, что написали оба поэта: я говорю лишь о том, что широко известно народу, что стало его песнью. Всегда трудно проследить взаимодействие смежных искусств — скажем, изобразительного искусства и литературы,— но, может быть, отчасти Навроцкому обязан темой «Степан Разин» художник В. И. Суриков, а уж если говорить о русском революционном движении, то «Утес Стеньки Разина», подобно «Дубинушке», был своего рода факелом, освещавшим путь целому поколению...

А. А. Навроцкий оставил книги: «Картины минувшего», вышедшие в 1881 году, «Сказания минувшаго» (1897), частично повторявшие первую книгу, и сказание в стихах «Россия» (1898), начинавшееся строками: «На вершинах Балкан, на утесе одном, замерзая в снегу на одре ледяном, умирал позабытый солдат...»

Я радуюсь, что в Ярославле есть улица Трефолева, и сожалею, что нигде и ничем не отмечена память о Н. Цыганове, авторе песен «Соловей мой, соловеюшко», «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», «Ах! чарка моя, серебряная!», «Ах ты, ночка, моя ноченька — ночка тем-

ная, осенняя!», глубоко проникших в русскую народную лирику; сожалею я, что нигде не отмечена память и о А. Навроцком. Имена эти, однако, имеют право на память; книги Цыганова, Навроцкого, А. Мерзлякова стоят у меня в книжном шкафу рядом с Фетом, Полонским, Плещеевым, Блоком, и я полагаю, что ни один из этих признанных поэтов не отрекся бы от полузабытых Цыганова или И. Макарова, с его пронзительной песнью «Однозвучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка...», которую обессмертил композитор А. Гурилев.

СТАРЫЙ РЫБАК



Отличнейший человек, превосходный переводчик «Гитанджали» Рабиндраната Тагора, Николай Алексеевич Пушешников как-то спросил меня:

— Не интересуетесь ли вы старыми бумагами и письмами? Мне предлагают приобрести один архив, но я его не видел... если хотите, я направлю к вам этого человека.

И вот в 1925 году мне принесли огромную, плотно набитую бумагами наволочку. Когда, взяв наволочку за два угла, я высыпал ее содержимое на стол, то на минуту именно застыл, как говорится: сорок писем Гоголя к матери, рисунки и листки из записных книжек Достоевского, несколько писем Чаадаева, и среди них плотные зеленые тетрадочки малого формата, на которых стояло имя С. Т. Аксакова.

Все бумаги и письма оказались из аксаковского архива, пролежавшего где-то в подполице одного из строений

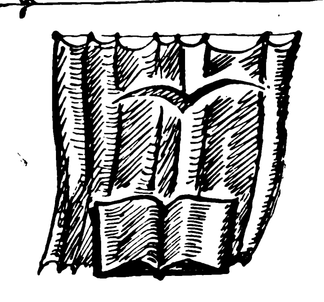
в Абрамцеве и немного меньше века спустя извлеченного на свет. В зеленых тетрадочках Аксаков вел счет отстрелянной им дичи, это был как бы прообраз будущих «Записок ружейного охотника», отдельно были и другие тетрадочки, в которые он заносил свои заметки рыболова. Архив этот при моем участии приобрела тогда Государственная академия художественных наук, он цел, находится ныне в одном из наших хранилищ, и я всегда с благодарностью думаю о Николае Алексеевиче Пушешникове, благодаря которому этот бесценный архив не погиб.

Я вспомнил об этом архиве, приобретя как-то первое издание книги С. Т. Аксакова «Записки об уженье» (1847)— эту энциклопедию сведений о рыбной ловле и вместе с тем справочник о природе, написанный чистейшим русским языком одним из чистейших по своему духовному облику писателей. На обороте желтой обложки книги, выпущенной без имени автора, есть надпись Аксакова: «Николаю Алексеевичу Елагину от старого рыбака — молодому». Н. А. Елагин был сыном А. А. Елагина и Авдотьи Петровны Елагиной, племянницы и друга поэта В. А. Жуковского; ее литературный салон был широко известен в Москве, бывал в нем и Пушкин.

Не знаю, перенял ли молодой рыбак от старого его заветы, но каждый раз, когда держу в руках книгу Аксакова с его надписью, я вспоминаю зеленые тетрадочки ружейного охотника, мелко исписанные, письма Гоголя к матери, рисунки Достоевского и радуюсь, что благодаря случаю архив этот не погиб. Недавно вышел «Путеводитель» Центрального государственного архива литературы и искусства; просматривая его, я нашел в нем кое-что знакомое из побывавшего в моих руках аксаковского архива и с удовлетворением подумал о том, что каждому из нас дано в той или иной мере помогать в деле собирания памятников нашей культуры; без этой высокой мысли любое книголюбие было бы только частным любительством, о котором и писать не стоит.



«ВЕТВЬ»



В апреле 1917 года в комнате Правления Московского Художественного театра состоялось несколько необычное сборище. В театре шел спектакль, все было академически строго и чинно в округлом фойе, беззвучном от оливкового мягкого бобрика, тяжелые бронзовые кольца, служившие ручками, висели на дверях той комнаты, где многие авторы, наверно еще со времен Чехова, читали свои пьесы, где решались не только судьбы драматургов, но определялся и климат очередного театрального сезона Москвы: Художественный театр был в отношении русской сцены законодателем.

В дверях комнаты Правления стоял корректный, аккуратнейший, блистающий крахмальным воротничком, с подстриженной четырехугольником уже седоватой бородкой Владимир Иванович Немирович-Данченко. Он встречал приходящих на это необычное собрание как один из духовных хозяинов театра.

Однажды мне привелось побывать в тех местах, где Волга вытекает из земли как родничок; родничок теряется в траве, пахнет болиголовом, и трудно представить себе, что здесь и рождается великая русская река. Союз писателей СССР возник тоже не сразу: его возникновению предшествовали сначала Московский профессиональный союз писателей, затем просто — Московский союз писателей, затем — Всероссийский союз писателей. Но и эти писательские объединения возникли из первичного общения писателей, о котором мало кто знает.

В 1917 году в одной из московских газет появилась такая заметка: «В Москве уже несколько месяцев существует клуб писателей. Эта организация носит замкнутый харак-

тер, и на собрание клуба никто из посторонних не допускается.

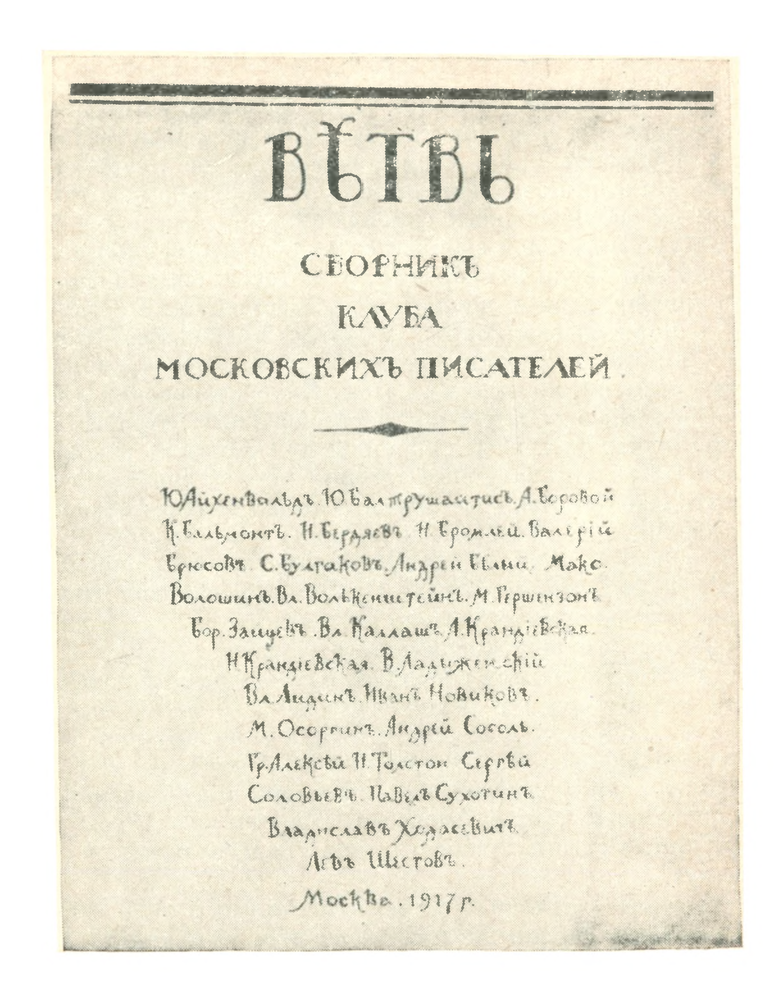
Доступ новых членов в клуб чрезвычайно ограничен. Производится обыкновенно баллотировка, и в число членов попадают лица, безусловно имеющие литературное имя. На этой почве даже возникло несколько недоразумений из-за уязвленных самолюбий.

Клуб писателей собирается в Художественном театре. Было уже около 10 собраний, на которых обычно кто-либо из членов делает доклад на общественно-литературные или политические темы, и затем происходят дебаты».

Заметка была написана в обычном репортерском духе того времени, но дело не в этом. Клуб московских писателей возник в ту пору, когда разобщенные дотоле и напуганные надвигающейся лавиной Октябрьской революции некоторые литературные столпы почувствовали непрочность своего одинокого бытия и необходимость общения и единения. Были забыты и литературные распри, в ряде случаев даже личная неприязнь, и всегда расположенный к литературе, как писатель, Владимир Иванович Немирович-Данченко гостеприимно раскрыл двери театра для собраний этого объединения писателей.

Пестрые это были собрания, с докладами на возвышенные литературные и философские темы — философы были главным образом с идеалистическим уклоном, но над ними властвовала все же литература: блистательные беседы о драматургии и театре Вл. И. Немировича-Данченко или отличнейшее чтение Алексеем Толстым его пьесы «Кукушкины слезы», впоследствии переделанной в «Касатку».

Все было установлено десятилетиями в этой комнате Правления Московского Художественного театра: и ее тишина, и зеленая суконная скатерть на огромном столе, и стаканы с красноватым чаем отменной крепости, и сам любезнейший, строго подтянутый Владимир Иванович, при котором громко не заговоришь и лишнего слова не скажешь. В большой, конторского образца книге велись протоколы; к сожалению, книга эта бесследно исчезла: ее нет в Музее Художественного театра, и не осталось почти ни единого следа деятельности этого писательского объединения, следом за которым уже в 1918 году, после Октябрьской революции, возник Московский профессиональный союз писателей.


ВѢТВЬ

СБОРНИКЪ

КЛУБА

МОСКОВСКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ

Ю. Айхенвальдъ. Ю. Балтрушайтисъ. А. Боровой
К. Бальмонтъ. Н. Бердяевъ. Н. Бромлей. Валерій
Брюсовъ. С. Булгаковъ. Андрей Бѣлый. Макс.
Волошинъ. Вл. Волькенштейнъ. М. Гершензонъ.
Бор. Зайцевъ. Вл. Каллашъ. А. Крандіевская.
Н. Крандіевская. В. Ладыженскій.
Вл. Лидинъ. Иванъ Новиковъ.
М. Осоргинъ. Андрей Соболь.
Гр. Алексѣй Н. Толстой. Сергѣй
Соловьевъ. Павелъ Сухотинъ.
Владиславъ Ходасевичъ.
Левъ Шестовъ.

Москва. 1917 г.

Титульный лист сборника

Но все же один след существования этого клуба остался в виде книги под названием «Ветвь». Весной 1917 года, когда из тюрем были выпущены политические заключенные царской России, писатели решили выпустить сборник, с тем чтобы весь чистый доход от него пошел в пользу освобожденных. Мало кто помнит и знает этот сборник, выпущенный в самый разгар событий, шумных и тревожных,

вдобавок сборник хаотический по своему составу, и лишь то, что на его титуле значится «Сборник клуба московских писателей», делает его не только некоторой вехой в истории писательских объединений, но по нему можно судить, как в дальнейшем резко разошлись пути многих писателей.

На титульном листе моего экземпляра есть надписи почти всех участников сборника — от Вл. И. Немировича-Данченко и Алексея Толстого до поэтов Вячеслава Иванова и Владислава Ходасевича, от историков литературы М. Гершензона и В. Каллаша до философа Льва Шестова. Этот разнобой имен не только чуждых, но впоследствии и враждебных друг другу писателей отразился и в их записях на книге: «Мир на земле! На святой Руси воля! Каждому доля на ниве родной!» — написал поэт-символист Вячеслав Иванов. «Только бы любить — все будет хорошо. Друзья, друзья мои», — написал Алексей Толстой. «Мир земле, вечерней и грешной!» — перефразировал двустишие Иванова Владислав Ходасевич.

Время все поставило на свои места: некоторые из участников этого сборника закономерно оказались в эмиграции; некоторые не поняли революции и остались на правом фланге, обездолив сами себя; но большинство с открытой душой стали деятелями советской литературы. Редчайший ныне сборник «Ветвь» примечателен в этом смысле, и как бы ни было случайным и противоречивым его содержание, он все-таки остался своего рода памяткой о днях, когда только возникала молодая советская литература.



«Сапоги Карла Маркса»

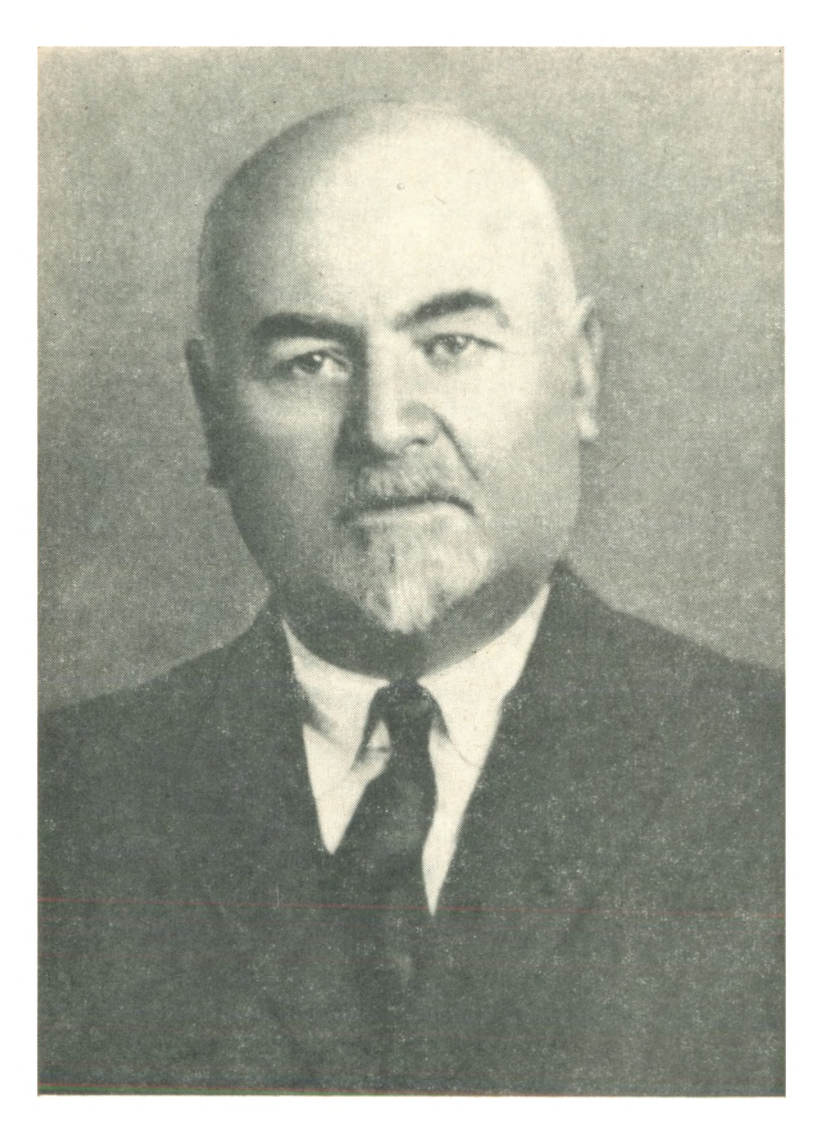


В доме московского адвоката Сергея Георгиевича Кара-Мурзы к литературе относились с благоговением. Все, связанное с писателями, было в этом доме овеяно поэтической дымкой.

В прихожей огромной квартиры в доме страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре в Москве посетителя встречал невысокий, милейший по своим душевным качествам хозяин. С мальчишески-румяными блестящими щеками, с живыми умными глазами на круглом лице, весь как-то уютно сбитый, Сергей Георгиевич умел создавать высокое литературное настроение на своих «вторниках». «Вторники» Кара-Мурзы были в годы, предшествовавшие революции, популярны в литературной Москве. Они следовали традициям московских литературных салонов, даже своим названием повторяя знаменитые «вторники» поэтессы прошлого века Каролины Павловой, о которых осталось немало воспоминаний.

«Вторники» Кара-Мурзы были, конечно, скромные и ни на какие литературные аналогии не претендовали. Это было просто чтение писателями своих произведений за большим чайным столом, и почти все новое, возникавшее в литературе, не миновало этих «вторников»; тот или другой молодой писатель появлялся в очередном порядке у Кара-Мурзы и уходил обычно от него обласканным. Сам Сергей Георгиевич был тоже литератором: он был историком театра и историком литературной Москвы, написал множество статей об актерах и театральных постановках и издал в 1924 году книгу «Малый театр» с подзаголовком «Очерки и впечатления».

Но Сергей Георгиевич был еще и собирателем, при этом собирателем неутомимым и влюбленным в предмет своего



С. Г. Кара-Мурза

коллекционерства: он собирал афиши и программы литературных вечеров, вырезки о писателях и чем-либо необычные по своему содержанию книги, связанные с тем или другим литературным или общественным событием.

В одну из годовщин со дня смерти С. Г. Кара-Мурзы его сын захотел в память об отце сделать мне подарок. Он принес мне редчайшую книжку, о которой дотоле я и слыхом не слыхал; не слыхали о ней и другие собиратели.

Книжка называется «Сапоги Карла Маркса». Издана она в 1899 году в С.-Петербурге, автором ее значится некто А. Трнка, и на задней ее обложке напечатано: «Продается во всех книжных магазинах за исключением «Новаго Времени». Книжка эта является памфлетом на «легальный марксизм», представителями которого были П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский и другие.

На одно из собраний представителей «легального марксизма» кто-то таинственно приносит сапоги, заявив при этом, что они принадлежали Марксу. «Марксисты», понюхав их, подтвердили, что это действительно сапоги Маркса. Те, кому поочередно передают сапоги на хранение, стараются поскорее избавиться от опасной улики, пока один из участников не объявляет, что сапоги принадлежат ему. Иначе говоря, речь идет о тех, кто только понюхал марксизм и с важностью воображает себя марксистом.

В номере пятом за 1899 год журнал «Русское богатство» поместил уничтожающую рецензию на эту книгу, но следует вспомнить, что у народнического «Русского богатства» были свои счеты со всеми видами марксизма.

Неутомимый следопыт А. В. Храбровицкий нашел в книге, посвященной революционной истории Горного института, сведения об авторе книжки «Сапоги Карла Маркса», студенте Горного института, чехе по национальности.

Александр Осипович Трнка, считавшийся в институте одним из лучших знатоков «Капитала» Карла Маркса, всегда нападал на «пижонов-белоподкладочников», которые вначале изучали Маркса, а к моменту окончания института отрезвлялись: «Неужели мне казалось, что капиталисты действительно грабят рабочих?»

Книжка вызвала горячие нападки на автора со стороны молодежи, но он твердо стоял на своем, доказывая, что марксизму не нужны «душки-марксисты», обличительную характеристику которых он дал в другой своей книжке — «Записки пижона».

Трнка умер в 1901 году, несомненно не раскрыв всех своих литературных возможностей.

Эту редчайшую книжку С. Г. Кара-Мурза хранил, видимо, особо; хранил он и подарил мне в свое время как образец нравов деятелей так называемой «желтой прессы» книжку журналиста С. Васюкова «Скорпионы» (1901). С. Г. Кара-Мурза всегда близко принимал к сердцу чистоту литературных нравов и горько сетовал, когда чистота эта нарушалась. За добрых полвека Сергей Георгиевич хорошо познал характер деятелей прессы, сам печатался (как-то он принес мне визитную карточку театрального критика Н. Е. Эфроса, который в качестве заведующего театральным отделом в газете «Новости дня» просил Чехова принять молодого журналиста С. Кара-Мурзу). Книжка Васюкова разоблачала приемы продажных издателей и журналистов, и Кара-Мурза ценил эту ее разоблачительную часть.

«Здравствуйте, «скорпионы»! Вы верно забыли, что я вас потревожил немного, забыли обо мне! Но я жив и вас отлично помню... Я помню каждую из ваших физиономий, особенности каждого скорпиона и его привычки»,— писал Васюков.

— Книжка не ахти какая,— сказал С. Г. Кара-Мурза,— но она хранит в себе все-таки следы эпохи... Ведь поминают же подлеца Булгарина, когда хотят дать представление о пушкинском времени.

ОТ ПОТОМКОВ ШЕВЧЕНКО



Захар Устинович Докторов — ныне старший научный сотрудник Белорусской Академии наук — во время войны был военным корреспондентом газеты 2-го Украинского фронта «Суворовский натиск».

Шла война, и будущий ученый пока выхаживал по дорогам Украины, добираясь до того или иного пункта на попутных машинах; в редакцию он возвращался или измазанный грязью с головы до ног, или настолько пропыленный, что не меньше суток все встречавшиеся с ним чихали. Докторов всегда возвращался с какими-нибудь трофеями, которые тут же раздавал. Однажды он вернулся с одним трофеем, который хотел подарить мне, но я из скромности отказался и теперь глубоко сожалею об этом.

В феврале 1944 года несколько немецких дивизий попало в так называемое корсунь-шевченковское кольцо. Судьба этих дивизий известна: они были окружены, уничтожены, а часть оставшихся войск захвачена в плен. На 2-м Украинском фронте был по этому поводу праздник в тех пределах, в каких это возможно было в суровую и тяжелую пору войны.

В один из февральских дней в редакцию вернулся из командировки З. У. Докторов. Он был не просто залеплен грязью проселочных раскисших дорог, а в футляре из грязи; но лицо у него было счастливое.

— Посмотрите, какой у меня трофей,— сказал он, едва успев скинуть с ног нечто тяжелое и слонообразное, оказавшееся сапогами с налипшими ковригами грязи. Он порылся в вещевом мешке и достал том стихотворений Шевченко в издании большой серии «Библиотеки поэта». На первой чистой странице книги была надпись: «Первым кавалеристам Красной Армии, освободившим село Моринцы — родину Шевченко». И дальше шли подписи жителей села во главе, помнится, с подписью местной учительницы.

— Послушайте, Захар Устинович,— сказал я,— ведь это реликвия. Этому место в музее Шевченко.

— Или, по крайней мере, в вашей библиотеке,— ответил он добродушно, зная мое книголюбие и твердо веря, что к этому еще через годик-другой можно будет вернуться.

Я книжки у него не взял. Я только подержал ее в руках; я обратил мысленный взор к тому, кто мечтал о свободе для родной ему Украины; я подумал и о тех его потомках, которые были освобождены кавалеристами, вероятно, генерала Осликовского, прославленного конника, войска которого привелось мне увидеть на марше именно в сторону Корсунь-Шевченковского...

— Зря не берете,— сказал Докторов, но расставаться с книгой ему, видимо, не очень хотелось: все же это было

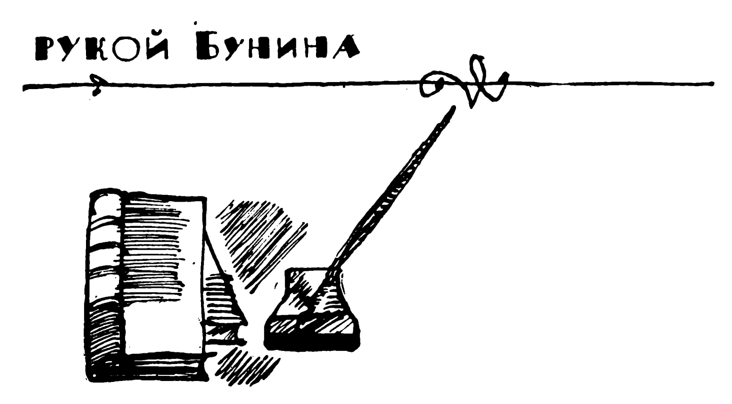
связано и с десятками километров пройденных им украинских дорог и с историческими днями освобождения правобережной Украины, в том числе и места, где родился Шевченко.

Книга осталась у Докторова, а дальше — по сложным ходам войны — начались переезды, передислокации, и книга где-то затерялась.

— Видите,— сказал мне Докторов, когда мы встретились с ним уже после войны.— Книгу нужно было взять. У вас она сохранилась бы.

Конечно, она стояла бы ныне на моей книжной полке, и Захар Устинович несомненно пожалел, что тогда не настоял на своем. А может быть, книга и уцелела — кто знает... может быть, пройдя сложными дорогами войны, она попала в музей Шевченко, и пусть тогда эти строки будут для нее добрым напутствием.

РУКОЙ БУНИНА



Иван Бунин в молодости увлекался Л. Н. Толстым. Об этом можно прочесть в его автобиографическом рассказе «Лика»; об этом он пишет и в своих воспоминаниях. В Полтаве в 1892 году Бунин посещал толстовские колонии, а в 1894 году он побывал и у самого Толстого в Москве.

Как-то я приобрел «Собрание литературных статей» Н. И. Пирогова, изданное в 1858 году в Одессе и любовнейше вместе с другими пироговскими материалами переплетенное в кожу с вытисненными на ней инициалами бывшего владельца. Уже много позднее я обнаружил в книге два листка: один был вклеен в книгу, а другой вложен в нее.

Вклеенный листок оказался автографом И. А. Бунина — стихотворением под названием «Памяти Н. И. Пирогова». Стихотворение это было написано, видимо, в 1891 году, когда отмечалось десятилетие со дня смерти Пирогова; Бунину в ту пору было двадцать один год. Ни в одном из собраний стихотворений Бунина публикации этого стихотворения я не нашел.

ПАМЯТИ Н. И. ПИРОГОВА

Я счастлив тем,— не раз он говорил,—
Что вот имею голову седую,
А юности своей не позабыл
И уважать привык чужую!

Да, это счастье! В мертвой тишине
И сумраке осеннего ненастья
Идти вперед, мечтая о весне,
О светлых днях — большое счастье!

Прекрасна, верно, та весна была,
Сияло ярко солнце над землею,
Когда земля воскресшая цвела,
Дышала вешней красотою...

И дух велик, не сгинувший в борьбе,
Тот дух, что с беззаветною любовью
Восторг весны не умертвил в себе
И не предал его злословью.

А если он лишь вечному служил,
Оберегал святое в человеке,—
Он смерть своей любовью победил
И не умрет уже вовеки!

Ив. Бунин

Не будем строги к этому стихотворению юноши: Бунин никогда не печатал его; оно просто вклеено кем-то в том статей Пирогова и закономерно находится в нем. Но другой, находившийся в книге автограф Бунина, наводит на сложные размышления. Листок, сложенный вчетверо и случайно не выпавший из книги за годы ее странствий, оказался черновиком письма Бунина, датированного мартом 1896 года и, видимо, оставшегося непосланным; в собрании Толстовского музея этого письма нет. Письмо полно раздумья над смыслом жизни и пессимизма, свойственного части молодежи в конце прошлого века; в нем есть, однако, и то, что в измененном виде, иначе выраженное, осталось свойственно Бунину и в дальнейшем.

«Полтава, Воскр. 21 марта 96 г.

Завтра я уезжаю в Орловскую губернию, в деревню, и вот сейчас собирал свои пожитки в походную корзиночку и, как всегда перед отъездом, при перемене места, при собирании своих бумажек, книг и разных писем, которые вожу с собой и невольно перечитываю в такие минуты, то чувство, которое глухо мучит меня очень-очень часто, обострилось и мне захотелось написать Вам, потому что мне решительно больше некому сказать этого, а тяжело мне невыносимо! Вы же когда-то приняли участие во мне, это было уже давно, и с тех пор я многое пережил, но, кажется, не пришел ни к каким выводам. Да и жизнь моя сложилась так, что ни к кому не придешь. Начать с того, что я теперь вполне бродяга: с тех пор, как уехала жена, я ведь не прожил ни на одном месте больше 2 месяцев. И когда этому будет конец, и где я задержусь и зачем,— не знаю. Главное — зачем? Мож. быть, я эгоист большой, но право, часто убеждаюсь, что хорошо бы освободиться от этой тяготы. Прежде всего — удивительно отрывочно все в моей жизни! Знания самые отрывочные, и меня это мучит иногда до психотизма: так много всего, так много надо узнать, и вместо этого жалкие кусочки собираемых. А ведь до боли хочется что-то узнать с самого начала, с самой сути! Впрочем, может быть, это детские рассуждения. Потом в отношениях к людям: опять отрывочные, раздробленные симпатии, почти фальсификация дружбы, минуты любви и т. д. А уж на схождение с кем-нибудь я и не надеюсь. И прежнего нельзя забыть и в будущем, вероятно, никого, с кем бы хорошо было: опять будет все раздробленное, не полное, а ведь хочется хорошей дружбы, молодости, понимания всего, светлых и тихих дней... Да и какое право, думаешь часто, имеешь на это? И при всем этом ничтожном, при жажде жизни и мучениях от нее, еще знать, что и конец вот-вот: ведь в лучшем случае могу прожить 25 лет еще, а из них 10 на сон пойдет. Смешной и злобный вывод! Много раз я убеждал себя, что смерти нет, да нет, должно быть есть, по крайней мере, я не то буду, чем так хочу быть. И не пройдет 100 лет, как на земле ведь не останется ни одного живого существа, которое так же, как и я, хочет жить и живет — ни одной собаки, ни одного зверька и ни одного человека — все новое! А во что я верю? И ни в то, что от меня ничего не останется, как от сгоревшей свечи, и ни в то, что я буду блуждать где-то бесконечные века —

радоваться или печалиться. А о боге? Что же я могу сообразить, когда достаточно спросить себя: где я? Где эта наша земля маленькая, даже весь мир с бесчисленными мирами? — Положим, он вот такой, ну хоть в виде шара, а вокруг шара что? Ничего? Что же это такое «ничего», и где этому «ничего» конец, и что, что там, за этим «ничего», и когда все началось, что было до начала — достаточно это подумать, чтобы не заикаться ни о каких выводах! Да и можно, наконец, примириться со всем, опустить покорно голову и идти только к тому, к чему влекут хорошие влечения сердца, и утешаясь этим, но как тяжело это —опустить голову в грустном сознании своего бессилия и покорности! Да и в этом пути — быть вечно непонятым даже тем, кого любишь так искренно, как можно, как говорит Амиель.

Утешает меня часто литература, но и литература — ведь, боже мой, кажется иногда, что нет в мире настроений прекраснее, радостнее или грустнее сладостно и что все в этом чудном настроении, но ненадолго это, уже по одному тому, что из всего того, что я уже лет 10 так оплакивал или обдумывал с радостью, с бьющимся всей молодостью сердцем, и что казалось сутью души моей и делом жизни — из всего этого вышло несколько ничтожных, маленьких, ничего не выражающих рассказиков!..

Так я вот живу, и если письмо мое детское, отрывочное и не говорящее того, что я хотел сказать, когда сел писать, то и жизнь моя, как письмо это. Не удивляйтесь ему, дорогой Лев Николаевич, и не спрашивайте — зачем написано. Ведь Вы один из тех людей, слова которых возвышают душу и делают слезы даже высокими и у которых хочется в минуту горя заплакать и горячо поцеловать руку, как у родного отца!

Будьте здоровы, дорогой Лев Николаевич, и не забывайте глубоко любящего Вас Ив. Бунина».

Я так и не смог доискаться, кому принадлежала книга статей Пирогова и почему в ней оказалось неотправленное письмо И. А. Бунина к Л. Н. Толстому; стихотворение, посвященное Пирогову, вклеено к месту: может быть, бывший владелец книги хотел, чтобы оба автографа Бунина были вместе, но кто этот бывший владелец, инициалы которого «Е. D. С.» вытиснены на крышке переплета, почему он так любовно вплел в один переплет и редчайшее, изданное с учебно-благотворительной целью в Киеве в 1861 году «Собрание литературно-педагогических статей

Н. И. Пирогова, вышедших в управление его киевским учебным округом (1858—1861)», а ко всему этому кто-то уже позднее присоединил и автографы Бунина? Иногда книги не все рассказывают, иногда они молчат, но и молчание их бывает тоже глубоко поучительным.

ЗАМЕТКИ ФЛОТОВОДЦА



Знаменитый русский флотоводец Василий Михайлович Головнин был в то же время отличным писателем. Словом он владел острым и точным. Его «Записки Василия Михайловича Головнина в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах, и жизнеописание автора» (1851) если и не могут быть поставлены в один ряд с «Фрегатом «Паллада» Гончарова, то, во всяком случае, это увлекательная, отлично написанная книга.

За плечами знаменитого флотоводца лежали не одно морское плавание и изыскание; знал он много. Книги он любил и читал их вдумчиво и критически, делая на полях карандашные отметки, то гневные и обличительные, то деловые и саркастические.

У меня хранятся два томика, некогда принадлежавшие Головнину, с надписью владельца и исписанные на полях его пометками. Томики эти под названием «Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писанное сим последним» отпечатаны в Санкт-Петербурге в Морской типографии в 1810 году. Пометки Головнина на полях этих книг свидетельствуют о внутренней прямоте прославленного моряка.

Описывая свое путешествие, Давыдов отмечает, что, несмотря на крайнюю бедность жителей, поселенных к низу Лены, между Олекминском и Якутском, бывают такие проезжие, которые, считая себя по отдаленности края вне опасности от жалоб, не только не платят жителям их прогонных денег, но еще и с них собирают.

«Ужасно! — отмечает головнинская рука на полях книги.— Но, к несчастию, справедливо. Штатные чиновники дерут с них кожу. В 1813 году почтмейстер из Якутска ехал в Иркутск, брал по 9 и 11 лошадей, а прогоны платил по подорожной за пару!»

В другом месте, где Давыдов отмечает, что тунгусы приучены русскими купцами к водке, справедливая головнинская рука приписывает сбоку: «Да и чиновниками тоже». Головнин возмущен тем, как русские чиновники притесняют чукчей (чугачей), учат их притворяться и лгать.

«Да и как же быть сему иначе? — гневно восклицает он.— Какой народ может говорить искренно со своими притеснителями?»

Царская политика на Крайнем Севере России отличалась колонизаторской жестокостью. Так называемых островитян заставляли присягать в верности государю. Резкая отметка Головнина стоит на полях книги против соответственного текста: «Однако ж это дело! Присваивать вольный народ себе в собственность есть дело крайне несправедливое!»

«Тяжела жизнь островитян, страдают они болью в груди от усиленной и продолжительной гребли в байдарке, впадают в чахотку и лишаются сил»,— отмечает в своем описании Давыдов:

«Везде видны следы христиан, озаряющих светом истины народы непросвещенные... для пополнения своих карманов»,— отмечает Головнин. «Поступки человека к человеку поневоле заставляют сомневаться в бытии божием. Провидение! открой истину непросвещенным обитателям земного шара и избавь от трудов и хлопот библейские общества приготовлять им на многих типографических станках царство нéбесное!» — пишет со страстью Головнин, имея в виду библейские и миссионерские общества, насаждавшие во всем мире колониализм.

Головнин с величайшим сочувствием относится к малым северным народам.

«Сколько открытий имеют дикие, могущих быть для нас полезными, но пользоваться ими несовместно с нашим честолюбием!» — отмечает он по поводу сообщения Давыдова об умелости и сноровке островитян. В главе о распространении среди островитян христианской веры Давыдов отмечает, что прибывшие на Кадьяк архимандрит и монахи встретили много препятствий в исполнении своих намерений и что препятствия эти были и от незнания священниками языка. Головнин добавляет на полях: «и дурного их поведения и от нелепости преподаваемого, но более от того, что примеры отнюдь не способствовали учению»,— имея в виду невежество и распутство духовных лиц, «самых мерзких людей!» — определяет Головнин.

Во множестве карандашных пометок, подчеркнутых строчках, восклицательных и вопросительных знаках можно ощутить твердый характер знаменитого мореплавателя, патриота и оберегателя русской чести. В пометках этих во всей полноте проявляется благородство просвещенного деятеля, непримиримого к взяточничеству, поборам и угнетению человека.

«Убей, да поделись, эпиграф русского законодательства на опыте»,— пишет Головнин по поводу царской политики, осуществлявшейся чиновниками среди малых разоряемых народов Севера.

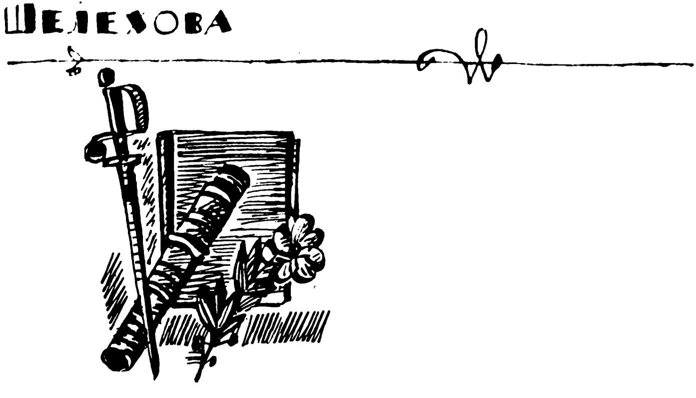
В двух томиках Хвостова и Давыдова с пометками Головнина запечатлен целый исторический период России, когда ее просвещенные и отважные люди проникали в далекие моря, открывали новые земли, с сочувствием описывали малые, дотоле незнаемые народности, а следом хищно шли чиновники и полицейские, порабощая, грабя и спаивая целые народы.

С годами у человека меняются вкусы и пристрастия; я сожалею ныне, что давно расстался с большим собранием книг русских мореходов, причем в первых изданиях, нередко с раскрашенными от руки атласами: Сарычева, Коцебу, Крузенштерна, Врангеля, Лисянского, Беллинсгаузена... Огромные волюмы с географическими картами и рисунками напугали меня, они были слишком громоздки для домашнего собирательства.

Теперь, когда в Антарктиде существует советский поселок «Мирный», названный в честь одного из кораблей, на которых Беллинсгаузен и Лазарев открыли Антарктиду; когда Северный полюс давно нами обжит, а Северный мор-

ской путь стал обычной дорогой, и на ней среди других судов плавает атомоход «Ленин», к первым изданиям путешествий русских мореходов относишься так же, как к прижизненным изданиям классиков... Но книг этих у меня давно уже нет, осталось всего несколько, и среди них одна, о которой стоит сказать особо.

СТРАНСТВОВАНИЕ ШЕЛЕХОВА



В Иркутске, на кладбище бывшего Знаменского монастыря, сохранился и поныне памятник на могиле Григория Ивановича Шелехова. На памятнике выбита такая эпитафия:

Колумб здесь Росский погребен!
Преплыл моря, открыл страны безвестны.
И зря, что все на свете тлен,
Направил парус свой
Во океан небесный
Искать сокровищ горних, неземных.
Сокровище благих!
Его ты, боже, душу упокой!

Гавриил Державин

С именем Шелехова связаны первые исследования Алеутских островов и острова Кадьяк, где им основаны были в 1784 году русские поселения. С именем Шелехова связана также широко известная деятельность Русско-Американской компании и просветительная работа: на далеких Алеутских островах Шелехов научил местных жителей земледелию и ремеслам. Он, как и Головнин, глубоко це-

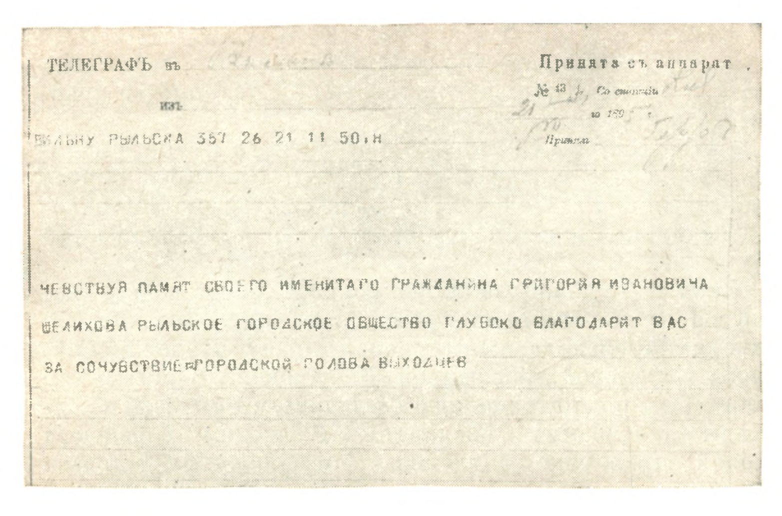
нил нравственные качества этих обездоленных, способных людей, в дальнейшем жертв произвола и лихоимства духовенства и царских чиновников.

В 1793 году вышла книга «Российского купца Именитого Рыльского гражданина Григорья Шелехова первое странствование с 1783 по 1787 год из Охотска по Восточному Океану к Американским берегам, и возвращение его в Россию».

Книжка эта давно стала библиографической редкостью; один из ее экземпляров хранился в роду Шелехова, у правнучки Шелехова, жены генерал-майора, Надежды Сергеевны Соколовой, рожденной Шелеховой. В экземпляр этот вплетен ряд материалов о Шелехове, в том числе и подлинник телеграммы, посланной Рыльским городским головой правнучке Шелехова по поводу следующего события.

21 июля 1895 года Рыльск чествовал память Шелехова в столетие со дня его смерти. Во вклеенной в книгу вырезке из «Нового времени» сказано: «Местная городская дума постановила соорудить памятник Шелехову, на что ассигновала 3000 рублей. Город был разукрашен с утра флагами, вечером состоялось гулянье в саду, где были показаны туманные картины, изображающие географические и этнографические особенности той местности, в которой сосредоточивалась деятельность Шелехова». Далее, в книгу вклеена вырезка из газеты «Русский инвалид» от 20 августа 1903 года: «Из Рыльска. 24 августа 1903 г. состоится торжество открытия памятника почетному гражданину г. Рыльска, известному моряку времен Екатерины Великой, Григ. Ив. Шелехову. Средства на сооружение памятника собраны подпиской по Курской губернии. Памятник представляет собой мореплавателя во весь рост; в правой руке статуи — подзорная труба, левая покоится на рукояти шпаги».

В книжку вплетена телеграмма, посланная 20 июля 1895 года из Вильно: «Как правнучка мужской линии Григория Ивановича Шелехова, присоединяюсь мыслью достойному делу чествования достойной памяти моего прадеда. Жена Генерал-майора Надежда Сергеевна Соколова, рожденная Шелехова». Вплетена в книжку и ответная телеграмма: «Вильну жене генерал-майора Надежде Сергеевне Соколовой. Чествуя память своего именитого гражданина Григория Ивановича Шелехова рыльское город-


ТЕЛЕГРАФЪ въ
изъ
Принята съ аппарат
№ 13 Со станціи
189 г.
Принялъ

ВИЛЬНУ РЫЛЬСКА 357 26 21 11 50 Н

ЧЕВСТВУЯ ПАМЯТ СВОЕГО ИМЕНИТАГО ГРАЖДАНИНА ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА ШЕЛИХОВА РЫЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУБОКО БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА СОЧУВСТВИЕ=ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ВЫХОДЦЕВ

Оригинал телеграммы внучке Шелехова, вклеенный в его книгу

ское общество глубоко благодарит вас за сочувствие. Городской голова Выходцев».

Приложена к книжке и генеалогическая справка:

Григорий Иванович Шелехов.

Василий Григорьев. (К-р Гусарского полка)

женат на Дарье Герасимовне.

Сергей Васильевич.

Надежда Сергеевна
(замужем за А. А. Соколовым).

Так первое издание странствования Шелехова пополнилось последующими материалами и несомненно стало в свою пору семейной реликвией.



КНИГА ДОНСКОГО КАЗАКА

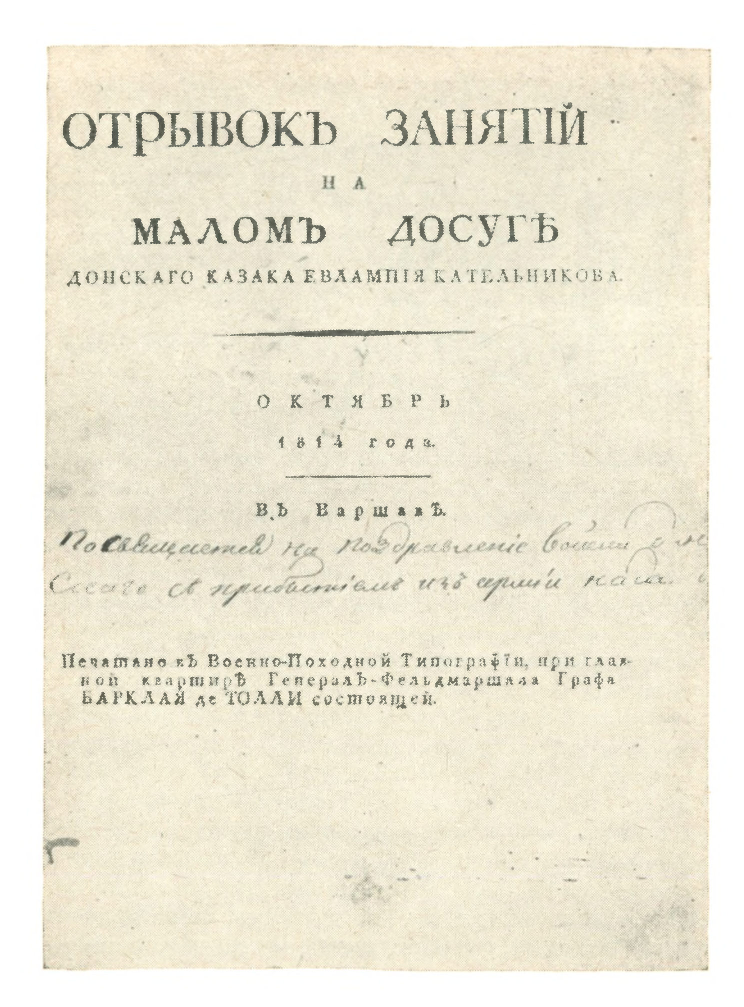


Существуют так называемые «летучие» издания; не все они имеются даже в основных наших книгохранилищах. По правилам каждая типография должна представлять по отпечатании любой книги обязательный экземпляр в основные библиотеки. Но летучие издания, может быть, именно потому и назывались летучими, что они исчезали иногда, нигде не оседая.

На редчайшей цветной гравюре художника-баталиста Зауервейда изображен бивуак донских казаков на фоне голубоватых Елисейских полей в Париже. Наполеон разгромлен в Отечественной войне 1812 года. Союзные войска вошли в Париж. Великий героический путь проделали в седле донские казаки. На Елисейских полях у коновязей стоят они в своих длинных синих мундирах-полукафтаньях, рослые представители могучего племени, колыбелью которого была Придонщина; другие сидят на земле возле походного костра, над которым подвешен котелок; третьи беседуют с француженками-маркитантками, сидя на конях, с пикой у ноги. Под гравюрой стоит подпись: «Бивуак казаков на Елисейских полях. 14 марта 1814 года».

В прямой перекличке с этой гравюрой находится и редчайшая книжка под названием «Отрывок занятий на малом досуге донского казака Евлампия Котельникова. Октябрь 1814 года. В Варшаве».

Книжка отпечатана в военно-походной типографии при главной квартире генерал-фельдмаршала Барклая де Толли, на пути возвращения русских казаков из Парижа после разгрома наполеоновских войск и изгнания Наполеона на остров Эльбу.



ОТРЫВОКЪ ЗАНЯТІЙ

НА

МАЛОМЪ ДОСУГѢ

ДОНСКАГО КАЗАКА ЕВЛАМПІЯ КАТЕЛЬНИКОВА.

ОКТЯБРЬ

1814 года.

ВЪ Варшавѣ.

Печатано въ Военно-Походной Типографіи, при главной квартирѣ Генералъ-Фельдмаршала Графа БАРКЛАЯ де ТОЛЛИ состоящей.

Титульный лист книги с авторской надписью

Сведения о есауле Евлампии Котельникове до чрезвычайности скудны. Известно только, что в 1817 году он был предан суду, в 1825 году посажен в Шлиссельбургскую крепость, а в 1826 году сослан в Соловецкий монастырь, где сошел с ума и умер. Его книжка, напечатанная в походе, состоит из двух частей. Вторая часть —

«Продолжение занятий на малом досуге» — посвящена генералу от кавалерии, войска Донского войсковому атаману Матвею Ивановичу Платову, славному своими партизанскими делами. О нем писали многие и по-разному. Несколько гротескно изображает Платова Н. С. Лесков в своей повести «Левша». Образ Платова вдохновлял не одного художника. В издании 1894 года повесть Лескова под названием «Стальная блоха» вышла с рисунками художника Н. Н. Каразина, а в наше время, в 1955 году, с рисунками Н. Кузьмина; в обоих случаях Платов изображен как личность по-своему необыкновенная. Необычность этой личности отмечает в своих стихах и Котельников:

С Оки, за Днепр, за Неман, Вислу,
Чрез Одр, чрез Ельбу и чрез Рейн
Преплыть вперед, противу смыслу,
Свирепого Врага за Сейн,
Верьхом в доспехах с казаками,
Без суден целыми Полками;
В ночи без звезд и без дорог
Скакать чрез твани, горы, скалы,
Сквозь лес, стремнины, чрез каналы,
Признайтеся! — никто б не мог.

Начинается же книжечка прославлением Тихого Дона:

Преславный тихий Дон Иванов,
Во время грозного царя,
Душей младцов и атаманов
Изтек на реки и моря.
Противны бури презирая,
Волнами горы покрывая,
Занял Сибирь, страшил Кавказ.
И лаврами тогда венчался,
Вселенной царством он казался
И изумленным был Парнас!

Вторая часть книжки состоит из прозаического текста в виде диалога «между двумя донскими задушевными Односумами, на бреге Рейна, в прекрасный день мая сидевшими под ореховым деревом». Односумов звали Воинов и Победов.

«Воинов: Одни путешественники видали тебя, Рейн! а нам и во сне не снилось!

Победов: Правда, любезный друг! бывало донскова духу здесь слухом не слыхано, а ныне и в очи видать;

бывало, ворон костей не занашивал, а ныне весь тихой Дон Иванович на Рейне».

Тоненькая книжечка эта, конечно, навеки зачитана и утеряна в походах; но один из экземпляров сохранился, притом с авторской надписью: «Посвящается на поздравление войска донского с прибытием из армии на Дон», и приятно, что почти 150 лет спустя можно напомнить о донском казаке Евлампии Котельникове, участнике похода на Париж, занимавшемся на «малом досуге» писанием стихов...

Как-то по просьбе газеты «Вечерний Ростов» я написал об этой книжечке, и вскоре та же газета напечатала отклик заместителя директора Ростовского областного музея С. Маркова; оказалось, что в музее хранится еще одна книга Котельникова, написанная в конце 1818 года,— «Историческое сведение войска Донского о Верхне-Курмоярской станице, составленное из сказаний старожилов и собственных примечаний».

Книга эта вышла уже после смерти автора в издании областного войска Донского статистического комитета в Новочеркасске в 1886 году. В книге есть некоторые сведения о жизни Котельникова, в частности примерная дата его смерти (1855 год) в Соловецком монастыре, куда он был сослан царским правительством в 1826 году, несмотря на то, что был одним из героев войны 1812 года...

Можно ли не задуматься о судьбе автора, держа в руках книжечку его стихов, отпечатанную по пути победоносного возвращения русской армии в военно-походной типографии при главной квартире Барклая де Толли, в Варшаве.



ИЗ КНИГ А. И. УРУСОВА



Александр Иванович Урусов был прославленным московским адвокатом. Имя его значится в одном ряду с именами Плевако, Карабчевского или Спасовича. Но его блестящие способности не ограничивались речами защитника, хотя речи Урусова и поныне считаются образцовыми.

Урусов был влюблен в театр и литературу, кроме того, он был книжным собирателем высокого толка: он знал, что̀ собирать и как переплетать книги; был он отличнейшим человеком и по своим нравственным качествам, как об этом свидетельствуют в своих воспоминаниях современники. В 1907 году были выпущены два тома его статей об искусстве, писем и воспоминаний о нем.

Как и его ближайший друг, тоже известный адвокат по уголовным делам и тоже литератор С. А. Андреевский, Урусов был страстным пропагандистом литературы: если Андреевский в своих «Литературных чтениях» прославлял Лермонтова, Толстого, Достоевского, то Урусов был в большой степени поклонником поэзии Запада и одним из первых возвестил о поэзии Бодлера. Урусова и Андреевского роднила и общая их страсть к книге; но если для Андреевского книга была лишь источником познания, то для библиофила Урусова книги имели еще и иные свойства и качества. Буковки А. У. на корешках переплетов книг, принадлежавших Урусову, неизменно свидетельствуют, что это книги особые: или с автографом автора, или пополненные самим Урусовым, и притом всегда изобретательно и поучительно.

Как-то в мои руки попала превосходно переплетенная в полный марокен книга, принадлежавшая Урусову:

«С. А. Андреевский. Стихотворения 1878—1885. С.-Петербург. 1886», с авторской надписью: «Кровному эстетику слова А. И. Урусову на снисходительный суд и добрую память. С. Андреевский. 24 Дек. 1885».

Урусов вплел в книгу портрет Андреевского, оригиналы неопубликованных его стихотворений «Голоса» и «Поэт», а также письмо Андреевского, которым тот сопроводил посылаемые стихи:

«Посылаю тебе, мой друг, портрет, автограф и вырезку из газеты. Ты меня совсем конфузишь таким приемом книги, на который у нее нет никакого права. Одно помни — что грех издания отчасти лежит на тебе...

Портрет плох, т. е. подкрашен, приглажен и мало меня передает — какой-то полнощекий франт. За автограф извиняюсь — даю отрывок, который никогда не помещался в печати — из моих старых набросков. Новое, что есть в зачатке — совсем сырое. Если портрет найдешь окончательно дрянным, то для твоей роскошной затеи готов сняться. Чудак ты! — Твой С. Андреевский».

Затея Урусова была действительно роскошной: он создал уникальный экземпляр стихотворений Андреевского, заботливо пометив на нем рукой библиофила: «Один из д е с я т и экземпляров на слоновой бумаге. Прим. А. Урусова».

К А. И. Урусову с большим уважением относились многие писатели, и на книгах из его библиотеки можно увидеть самые сердечные надписи авторов.

Вплетенное в книгу стихотворение «Поэт» раскрывает отношение к поэзии С. А. Андреевского.

ПОЭТ

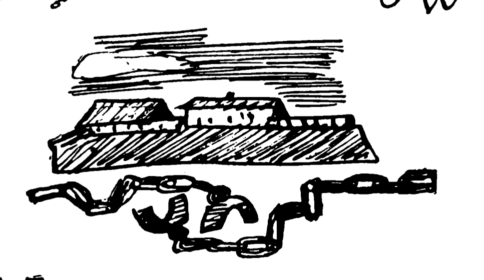
Из непроглядного тумана,
Как шум далекий океана,
Наш гимн звучит иным векам
О всем, что близко было нам.
Как вы — я сын своей эпохи,
Моих трудов сметутся крохи
С трудами прочими в архив:
Рассудит нас, кто будет жив.
В тот хор невольных песнопений
Я также лепту приношу;
Хвалы от вас я не прошу
И не желаю поощрений,
Но для грядущих поколений
Я ваши стоны заношу.

С. Андреевский

Об Андреевском следует добавить, что за отказ выступить обвинителем по делу В. И. Засулич он вынужден был выйти в отставку: был он в ту пору товарищем прокурора Петербургского окружного суда.

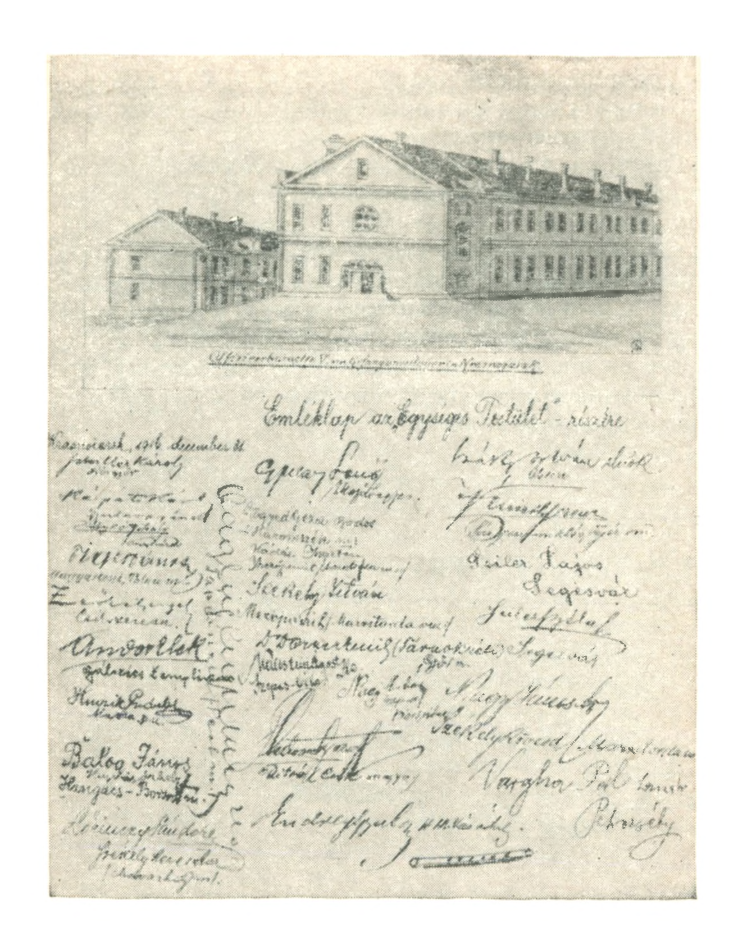
Глядя на томик Андреевского, столь любовно переплетенный Урусовым, я думаю о том, что это не библиофильская причуда, не изысканная страсть книжника — это целый слиток литературы, история отношений двух выдающихся деятелей, запечатленная в изобретательной выдумке одного из них, и как же не быть благодарным книжнику и собирателю Александру Ивановичу Урусову за то, что он обогатил не только свою библиотеку, но и тех, кто в интересах сегодняшнего дня ставит на службу читателям страницы прошлого.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ МЕЧТЫ



На моем столе лежит книга в переплете из черного коленкора. Она заключает в себе историю одной мечты и судьбу целого поколения.

В 1918 году из Сибири на родину, в Венгрию, пробирались трое бывших военнопленных. В ту пору было так далеко от Красноярска до Будапешта, что венгерская столица, казалось, находится на другом конце света. В России шла гражданская война, железные дороги были разрушены. Со случайными поездами, а иногда, может быть, многие километры и пешком группа венгров пробиралась по городам и весям необъятной страны, пока не оказалась в Симбирске. Здесь в поисках пристаница венгры познакомились с Надеждой Васильевной Коротневой — певи-



Титульный лист рукописной книги — перевод «Евгения Онегина» А. С. Пушкина на венгерский язык

цей-любительницей, впоследствии много лет дружившей с С. В. Рахманиновым.

В семье, где поселились венгры, хорошо понимали, что эти трое бывших военнопленных — люди с высшим образованием: один из них был врачом, другой преподавателем литературы — жертвы первой мировой войны. В самом деле, на своей личной судьбе венгры познали все несчастья, какие приносит война.

Почти целый год прожили трое венгров в Симбирске, пока смогли двинуться дальше. Когда, наконец, началось организованное возвращение бывших военнопленных на родину, один из венгров на прощание подарил хозяйке книгу, которая лежит ныне на моем столе.

— Книга эта — история одной мечты,— сказал венгр,— и когда ваши дети вырастут и вы расскажете им о нас и о трагической войне, которая забросила нас сюда, они поймут, почему эта книга представляет собой историю одной мечты.

Прошли годы, много лет, и теперь, перелистывая эту книгу, я размышлял не раз о судьбе целого поколения.

В 1915 году в далеком сибирском городе Красноярске в офицерские бараки для военнопленных была заключена большая группа венгров. Как бы свидетельствуя о том, что никакая война не может убить творческий дух человека, они общим трудом, работая, видимо, многие месяцы, создали поразительную рукописную книгу: перевод «Евгения Онегина» А. С. Пушкина на венгерский язык. Главу за главой чья-то старательная рука переписывала бисерным почерком бессмертный роман в стихах. Художники, а их среди военнопленных оказалось немало, снабдили текст рисунками.

На титульном листе книги акварелью изображены бараки, в которых военнопленные жили в Красноярске. Под акварелью и датой «Красноярск. 1916. Декабря 31» следует около пятидесяти подписей. Дата 31 декабря свидетельствует о том, что военнопленные встречали новогоднюю ночь. Надпись на следующей странице разъясняет глубокий смысл этой необычной книги.

Вот что сказано в этой надписи, под которой в виде концовки нарисованы ручные кандалы:

«Во время моего пребывания в плену переписка этого произведения доставляла мне очень много радости. Плен сковывал только мое тело в холодную зиму в Сибири, ибо душа моя свободна, как ветер, как порыв сердца,— и на быстрых крыльях летит по направлению к Венгрии!

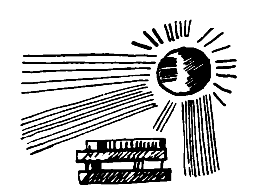
Ноябрь. 1916. Красноярск».

Надпись эту, написанную по-венгерски, мне только недавно перевели. История одной мечты — это, конечно, история мечты о свободе. Свободолюбивый поэт великой

страны стоял перед внутренним взором венгров; имя Пушкина было им так же дорого, как и имя Петефи передовым русским людям. Много рисунков и акварелей имеют непосредственное отношение к пушкинскому тексту, но есть в книге и рисунки, отображающие трагическую судьбу людей, заброшенных в неведомую им дотоле Сибирь. На одном рисунке — две одинокие могилы в сибирской тайге (вероятно, память о тех, кто не дождался освобождения), на другом — русская церковь тоже где-то в Сибири.

Давно нет на свете той, которая подарила мне эту книгу. Нет на свете, наверно, и многих из ее создателей. Но, может быть, некоторые из тех, имена которых запечатлены в подписях под заглавным рисунком, стали известными художниками, музыкантами или учеными современной народной Венгрии... Мне кажется, что в пору, когда в наиболее сложных испытаниях проверена дружба, которая связывает русский и венгерский народы, этот памятник далеких лет обретает особый смысл и особое выражение.

Перелистывая рукописные страницы книги в черном, уже ветшающем переплете, я вижу перед собой новогоднюю ночь 1916 года, когда, может быть, читали вслух великое творение Пушкина те, кто был насильственно оторван от своей родины. Они понимали, что русский народ не повинен в их испытаниях. Иначе они не венчали бы Пушкиным новогоднюю встречу, которая всегда несет в себе надежду на лучшее, более счастливое будущее.



РУКИ ПЕРЕПЛЕТЧИКА



За несколько лет до войны Академия архитектуры в Москве решила реставрировать редкие и наиболее ценные издания своей библиотеки. Огромные волюмы Витрувия или Палладио, источенные червями или обветшавшие от времени, требовали тончайшего мастерства переплетчика, который должен был вернуть им начальный вид.

Такие золотые руки нашлись в Москве. Это был старый переплетчик Эльяшев, родом из Николаева, человек, тонко чувствовавший эпоху, бескорыстно влюбленный в свое дело, превосходный переплетчик и футлярщик. Среди книг моей библиотеки есть ряд книг, переплетенных Эльяшевым и вполне достойных выставки переплетного искусства. Его пригласили в библиотеку Академии архитектуры, и Эльяшев реставрировал там или, вернее, воссоздал ряд замечательных книг, так что даже самый опытный взгляд не обнаружил бы изъянов.

Я всегда с уважением смотрел на руки Эльяшева. Они обращались с книгой так, словно разговаривали с ней, а сам Эльяшев принадлежал к тому поколению передовых переплетчиков, которые уважали книгу и несомненно сыграли просветительную роль в темные времена перед Октябрьской революцией в России.

В 1941 году, во время эвакуации, Эльяшев был заброшен куда-то в далекие лесные пространства, я потерял его из виду в сложных событиях войны и считал, что старик не вынес, вероятно, тяжелых потрясений. Но однажды, года через два после окончания войны, я узнал, что Эльяшев жив и даже работает продавцом в книжном киоске издательства Академии наук на одной из станций московского метро. Я поехал на эту станцию и отыскал Эльяшева.

— Как я рад что вы живы,— сказал я ему.— Я часто вспоминал ваши руки.

— Жив-то я жив,— ответил он,— но с руками мне пришлось проститься.

Он показал мне свои руки, на которых были ампутированы все пальцы, за исключением двух — большого и указательного на правой руке, которыми он и действовал.

— Как же это случилось... при каких обстоятельствах вы потеряли ваши руки? — спросил я озадаченно.

— Я отморозил их на лесозаготовках. Ноги у меня были тоже обморожены, но не в такой степени.

— Неужели вас послали на лесозаготовки? Ведь вам больше шестидесяти лет,—сказал я, готовый предположить чье-то равнодушие к чужой старости.

— Нет, я пошел добровольно,— ответил он с твердостью.— Разве мог я остаться без дела, когда вся страна воюет? Нет, я не вправе был поступить иначе.

Я вспомнил о своих книгах, которые переплел Эльяшев, вспомнил редчайшие издания в библиотеке Академии архитектуры, которым этот старик дал вторую жизнь.

— Как же мне жалко ваши руки, Эльяшев,— сказал я, искренне скорбя за него.— Они у вас были как у скрипача.

— Конечно, руки мои пропали... но если я принес ими хоть сколько-нибудь пользы в войну, что сейчас говорить о них.

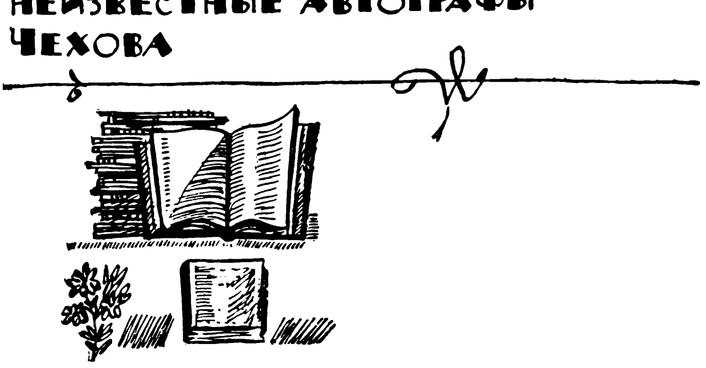
Он сказал это, нисколько не рисуясь, и я подумал о том, что, может быть, спиленное его шестидесятилетними руками дерево послужило топливом для двигателя или станка, на котором изготовляли оружие.

Неделю спустя Эльяшев неожиданно пришел ко мне.

— Вот что,— сказал он,— дайте мне какую-нибудь вашу самую любимую книгу... я постараюсь переплести ее, и это будет в последний раз в моей жизни.

Я дал ему редкость — сборник высоких мыслей о книге, носящий название «Похвала книге», и он переплел ее, орудуя двумя уцелевшими пальцами; вероятно, это стоило ему многих усилий, но он переплел книгу, и она стоит у меня на полке и поныне. Она напоминает мне о том, что истинное существо человека проверяется в самых трудных испытаниях.

НЕИЗВЕСТНЫЕ АВТОГРАФЫ ЧЕХОВА



Много лет назад, перебирая книги на книжном развале в глубоких воротах одного из домов на Кузнецком мосту, я нашел истрепанную, в самом бедственном состоянии книжку. На ее титуле с загнутыми углами была мелкая надпись знакомым, волновавшим меня еще с детства почерком. Надпись была сделана рукой А. П. Чехова, а книжкой оказался «Остров Сахалин».

«Николаю Владимировичу Алтухову на добрую память от автора. Антон Чехов. 30 апреля. 1902. Ялта».

Алтухов был прозектором Московского университета, однокурсником Чехова по медицинскому факультету.

Я принес эту пострадавшую от времени и судьбы книжку домой, отдал ее старому переплетчику — именно Эльяшеву, всегда близко принимавшему к сердцу судьбу книг,— и он вернул книге жизнь: в отличном переплете блистает она ныне золотом надписи. Эта первая книга с автографом Чехова пробудила во мне желание найти еще какие-либо чеховские автографы, и, как известно, горячее желание всегда находит отклик.

С артистом Александринского театра Павлом Матвеевичем Свободиным Чехов нежно дружил. Свободин играл в пьесах Чехова роли Шабельского в «Иванове», Светловидова в «Калхасе», Ломова в «Предложении». «Давыдов и Свободин очень и очень интересны,— писал Чехов А. С. Суворину.— Оба талантливы, умны, нервны, и оба несомненно новы». Драматургу Ивану Щеглову, человеку мнительному и болезненному, но отличнейших душевных качеств, Чехов неизменно сочувствовал и всегда ободрял его на трудном литературном пути; Чехов писал Щеглову

о Свободине: «А Свободин-то каков! Этим летом приезжал ко мне два раза и жил по нескольку дней. Он всегда был мил, но в последние полтора года своей жизни он производил какое-то необыкновенное, трогательное впечатление...»

Свободин умер за кулисами театра во время спектакля, и его смерть тяжело поразила Чехова. Мне привелось как-то купить книгу Чехова «Дуэль» с его нежнейшей надписью Свободину: «Павлу Матвеевичу Свободину (Полю Матиас) от преданного ему автора. А. Чехов. 92. 4.11». Так дружески называл Чехов Свободина.

Чеховские автографы всегда так или иначе связаны с его перепиской, отражают его отношение к людям и пополняют биографические сведения о нем. Так, надпись на книжке Чехова «Каштанка» расшифровывает скупые строки одного из его писем. В 1898 году тяжело больной писатель провел некоторое время в Ницце; жил он уединенно, мало писал и томился. В письме А. А. Хотяинцевой из Ниццы Чехов, описывая свое житье и окружение, упоминает некое семейство Бессеров, знакомое ему по Русскому пансиону, в котором он жил: «У m-me Бессер пестрая рубашечка с палевым воротничком, а у m-r Бессер — лысина и лысина, и больше ничего».

Но вот однажды я приобрел маленькую книжку «Каштанка», изданную А. С. Сувориным в 1897 году, с рисунками в тексте. На выходном листе книжки есть такая надпись: «Леле Бессер на память о докторе, лечившем у нее ухо. Ницца. 98.12.III. А. Чехов». Леля Бессер была, повидимому, маленькой дочкой Бессеров, и надпись Чехова подтверждает, что к нему обращались за медицинской помощью некоторые из русских, живших в то время в Ницце.

Хороший знаток и ценитель книг, автор многих статей по книжному делу, милейший и тишайший Валентин Иванович Вольпин, ныне покойный, принес мне как-то книгу Чехова «В сумерках» (1898) с автографом Чехова и вплетенным в книгу его письмом. Надпись на книге: «Пантелеймону Николаевичу Боярову на добрую память от автора-земляка. А Чехов. 1901, II, 20.», а вот текст вплетенного в книгу письма: «20 февраля. 1901 г. Ялта. Многоуважаемый Пантелеймон Николаевич! Простите, без вины виноват перед Вами. Не отвечал так долго на Ваши письма, потому что только вчера вернулся из-за границы. Не сердитесь, пожалуйста. Спасибо Вам большое, что меня не забываете — я плачу Вам тем же, т. е. и я помню Вас очень хорошо.

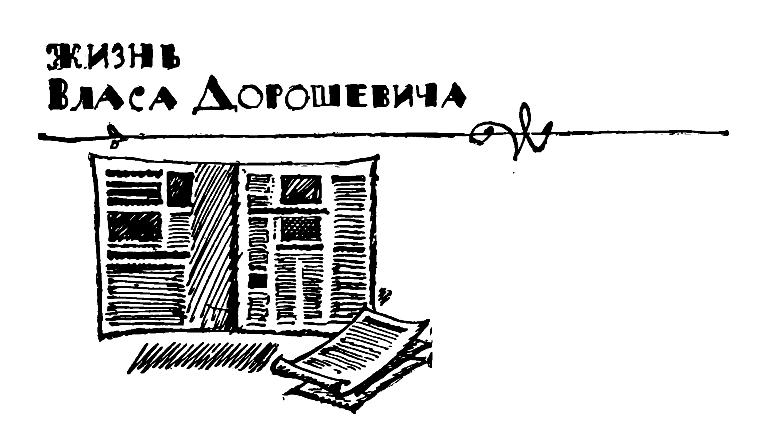
Желаю Вам всего хорошего и крепко жму руку. Преданный А. Чехов».

Письмо это опубликовано в двадцатитомном собрании сочинений Чехова (1944—1951), как единственное письмо Чехова к Боярову. Бояров был одноклассником Чехова по гимназии; работал впоследствии бухгалтером-секретарем Керченской таможни. Письмом Чехова он, видимо, дорожил в такой степени, что вплел его в книгу «В сумерках»; книга с надписью Чехова была у него несомненно тоже единственной. Книги с автографами Чехова стоят у меня в одном ряду с первыми изданиями его произведений. Кое-каких из первых изданий у меня не хватает; но есть и такие, о которых ничего не сказано в библиографии. Не знаю, во скольких экземплярах, видимо, только для того, чтобы порадовать Чехова, А. С. Суворин издал в 1897 году его «Мужики» большим форматом, с широкими полями, на самой дорогой бумаге. Набор этой книги дублирует набор обычного издания, вышедшего в том же году, но на обычном издании нет цензорской пометки, а на издании большого формата есть пометка: «Дозволено цензурою 23-го августа 1897 г. С-Петербург»; издание это было нумерованное. В наше время появилась книжечка, отпечатанная в количестве 200 экземпляров, тоже ставшая уже библиографической редкостью. В 1944 году Ленинградская книжная лавка писателей выпустила миниатюрную памятку «А. П. Чехов. Библиография». В книжечке этой перечислены по годам все собрания сочинений Чехова, отдельные издания и сборники его писем; упомянуты в этой памятке и автографы Чехова, приобретенные Ленинградской книжной лавкой в 1943—1944 годах и переданные Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Так рождаются редкости, и книгам иногда совсем не обязательно пройти большой путь во времени, чтобы стать редкостью.



Жизнь Власа Дорошевича



Наталья Власьевна Дорошевич была тяжело больна. Я никогда не видел ее; я знал о ней только, что она дочь Власа Дорошевича, что она журналистка, работала в газете «Труд» и других изданиях. Имя Власа Дорошевича у нас забыли. Когда-то его считали «королем фельетона». В области фельетона у него была слава шаляпинская. В пору моего детства номер газеты «Русское слово» с очередным фельетоном Дорошевича был событием. Кроме того, Дорошевич написал ряд книг, в том числе талантливые воспоминания «Литераторы и общественные деятели», «Старая театральная Москва», переизданная в наше время. Его фельетоны были напечатаны как образцовые рядом с фельетонами А. П. Чехова и А. М. Горького в книге «Газета в старой России», выпущенной в 1939 году Государственным издательством политической литературы.

Я решил повидать дочь Дорошевича, с тем чтобы, может быть, помочь ей чем-нибудь. Я застал истомленную смертельным недугом женщину в постели: она была уже осуждена. Мы познакомились с ней, хотя она меня сразу узнала, едва я вошел в комнату.

— Как хорошо, что вы пришли,— сказала она сильным голосом, поразившим в этом истерзанном болезнью существе.— Я думала, что уже никому не нужна.

Я успокоил ее, сел рядом, и мы за час беседы уплотнили время; мы как бы наверстали пропущенное за тот срок, что не были знакомы, и расширили то короткое время, что нам предстояло видеться. Наталья Власьевна стала рассказывать о своем отце. Она говорила умно, образно, талантливо; она словно вслух произносила стра-



Н. В. Дорошевич

ницы ненаписанной книги, и притом книги интересной и поучительной.

— А что, Наталья Власьевна, если бы записать то, что вы рассказали... писать лежа вам трудно, но, может быть, вы сумели бы продиктовать? Я постарался бы устроить, чтобы к вам приходила стенографистка.

Она задумалась, и ее лицо просветлело.

— Что ж,— сказала она,— диктовать я смогла бы... ведь, правда, было бы обидно, если бы я так и не рассказала все, а, кроме меня, этого никто не знает.

Мне удалось устроить так, что к ней стали приходить две стенографистки по очереди. Она диктовала каждой из них два-три часа в день, претерпевая нестерпимые боли и отказавшись от морфия, чтобы он не затемнял ее сознания. Это был пример силы воли и мужества. Она диктовала торопливо, страстно, спеша успеть все выговорить. Стенографистки, уходя от нее, плакали: она потрясла их.

Наталья Власьевна диктовала две недели подряд, две последние недели своей жизни. Потом боли одолели ее, и в дело пошел морфий. Она договорила свою книгу едва ли не за два дня до смерти — и вот тетрадки со стенографическими записями остались у меня. Литературный фонд, следуя старым традициям, помог расшифровать эти записи, они стали экземплярами на машинке. Страницы этой книги о Власе Дорошевиче воскрешают не только его образ, но и целую эпоху: в записках говорится о Рахманинове, Собинове, Шаляпине...

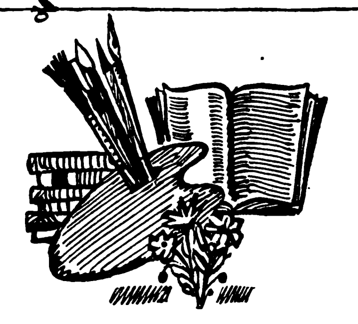
Это страстная книга, по временам пристрастная: Наталья Власьевна любила своего отца и была в тяжелом разрыве с матерью — артисткой К. В. Кручининой, работавшей под конец жизни в театре Ленинского комсомола. Стенографическая запись обычно бывает несовершенна и требует литературной обработки; но большинство страниц книги Дорошевич в такой обработке не нуждалось: так они совершенны по стилю и образности.

Два экземпляра этой книги — оба в виде машинописи — хранятся в Отделе рукописей библиотеки имени В. И. Ленина и в Государственном центральном архиве литературы и искусства; в библиотеке имени В. И. Ленина хранятся и оригиналы тетрадок со стенографическими записями.

Я переплел в один большой том эти страницы на машинке: это третий экземпляр рукописи, который я оста-

вил себе. Но экземпляр этот все же особый: в него вплетены материалы о Дорошевиче, афиша о его выступлении с лекцией «Великая французская революция», шаржи на Дорошевича художников В. Каррика и Ре-ми и некролог, написанный Михаилом Кольцовым. Я радуюсь, что сумел побудить Наталью Власьевну Дорошевич продиктовать свои воспоминания,— может быть, это всколыхнуло ее, дало ей последние силы, и она ушла с сознанием, что оставила нечто, что ее переживет...

ЧЛЕН-РАСПОРЯДИТЕЛЬ И. Ф. ГОРБУНОВ



После смерти Ивана Федоровича Горбунова его друзья решили издать необыкновенно роскошное собрание его сочинений, с тем чтобы весь доход был обращен в пользу семьи Горбунова. Горбунов был талантливый актер и талантливый писатель. Из актеров-писателей в русской литературе получили в свое время известность А. С. Яковлев («Сочинения Алексея Яковлева, Придворного Российского Актера», изданные в 1827 году), П. А. Плавильщиков, Петр Андреевич Каратыгин, брат знаменитого трагика, тоже актер («Сочинения Петра Каратыгина», изданные в 1854 году), М. П. Садовский и, конечно, авторы водевилей Д. Т. Ленский и П. И. Григорьев...

Три тома сочинений И. Ф. Горбунова, большого формата, были напечатаны на особой бумаге в количестве 500 нумерованных экземпляров, с превосходными рисунками ряда художников. Образца более роскошного издания сочине-

ний, пожалуй, не существует в истории нашего книгопечатания.

Но есть у меня, однако, ничем не примечательное собрание сочинений Горбунова, изданное в двух томах А. Ф.Марксом, которое все же не совсем обычно. В первый том этого издания вплетено цветное, отлично выполненное приглашение на «Праздник художников» в С.П.Б. Собрании Художников 23 ноября 1873 года. На обороте приглашения напечатан такой текст:

С.П.Б. Собрание Художников
23-го Ноября 1873 г.
Общии Ужины в 12, $1^1/_2$, $2^1/_2$ час.
По 2 руб. сер.
Консоме с гренками и пирожками
Осетрина по русски
Рябчики с салатом
Мороженое сливочное с фруктами

Покорнейше просят Гг. Посетителей по окончании ужина уступать свои места другим желающим их занять для той же цели. Член Распорядитель И. Горбунов».

И. Ф. Горбунов был другом художников, как другом художников был В. М. Гаршин, оба они продолжали традиции дружбы писателей с художниками, венчаемой дружбой Пушкина с Карлом Брюлловым. Пригласительные билеты обычно никем не хранятся, однако в них есть неоценимые приметы времени, по ним можно читать некоторые страницы нашей литературной и общественной жизни. Ведь даже конверты писем и почтовые штемпеля на них помогают зачастую воссоздать историю взаимоотношений между тем или другим деятелем, помимо того, что дают особый отсвет заключенному в конверт письму; так, почтовый штемпель «Sorrento» и итальянские марки на конверте воссоздают в материальном приближении целый период в жизни А. М. Горького, а, скажем, письмо Теодора Драйзера на бланке «The American Spectator, a literary newspaper», издававшегося в 1933 году Драйзером в Нью-Йорке, сразу переносит нас в особый мир, все более волнующий по мере того, как он отдаляется: таковы законы движения литературы и ее изучения по документам.

Пригласительный билет на праздник художников с подписью И. Ф. Горбунова в качестве члена-распорядителя тоже не коллекционная памятка, а своего рода лите-

С. П. Б. Собраніе Художниковъ

23го Ноября

1873 г.

Общіи Ужины въ 12, $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{2}$ час

по 2 руб. сер.

Консоме съ гренками и пирожками

Осетрина по русски

Рябчики съ салатомъ

Мороженое сливочное съ фруктами

Покорнѣйше просятъ Гг. Посѣтителей по окончаніи ужина уступать свои мѣста другимъ желающимъ ихъ занять для той же цѣли

Члены Распорядители И. Горбуновъ.

Меню ужина, вклеенное в 1-й том сочинений И. Ф. Горбунова

ратурный документ: может быть, у будущего исследователя он пробудит интерес не только к этой стороне деятельности Горбунова, но и к деятельности и значению почти нигде не освещенного «С.-Петербургского Собрания художников».

«ВЕНА»



Почти таким же документом эпохи может служить не слишком грамотный, изданный с целью рекламы сборник под названием «Десятилетие ресторана «Вена». Об этом «венском» периоде в жизни литераторов Петербурга в 1903—1913 годах можно было бы не говорить: российская богема не отличалась сдержанностью и несомненно сгубила не только ряд молодых дарований, но и устоявшихся литераторов. Шутки и экспромты, собранные владельцем ресторана «Вена» И. Соколовым для своего юбилейного сборника, невысокого качества: Мюрже на русской почве не процвел. Но в «Вене» бывал и прекрасный русский писатель А. И. Куприн, бывал несомненно больше и дольше, чем следовало, низко, однако, ценя случайные компании или даже попросту презирая их; несомненно именно нравы и быт «венской» литературной богемы выведены им в «Штабс-капитане Рыбникове».

Одна из глав юбилейного сборника «Вены» посвящена А. И. Куприну, и в ней приведены стихотворные экспромты Куприна, в частности стихотворное послание владельцу ресторана. Я вспомнил об этом сборнике, приобретя как-то второй том сочинений Куприна в издании «Московского книгоиздательства». На первой чистой странице этой книги есть пространная надпись Куприна:

«Прорицание на 1918 год.

Глубокоуважаемый Николай Петрович,
Очень может быть, что Вы будете не самым титулованным из Петербургских лорд-меров и, наверно, не самым богатым, но, конечно, одним из честных и, безусловно, самым энергичным. В чем порукой — моя давняя профессия предсказателя.

А. Куприн. Гатчина. 1915. 8 ноября. День Архистратига Михаила».

Кто же этот Николай Петрович и кому Куприн предвещал в 1915 году будущность петербургского «лорд-мера»? По одним предположениям, это писатель Николай Петрович Ашешов, с которым Куприн часто встречался в Гатчине. Но почему именно ему Куприн в шутливой форме намечал такое будущее? Впрочем, Куприн неизменно был склонен к такого рода сентенциям. Секретарь И. А. Бунина Н. Я. Рощин подарил мне как-то автограф Куприна, представлявший тоже своего рода сентенцию, несколько в восточном фаталистическом духе: «О предусмотрительности. Перед спуском с 6-го этажа обдумай путь; а то шагнешь в окно и ушибешься. А. Куприн».

Покойный Василий Александрович Регинин, бывший редактор журналов «Аргус» и «Синий журнал», а в наше время журнала «30 дней», человек живой и общительный, был на протяжении ряда лет своего рода тенью Куприна. Он знал о Куприне дореволюционной поры все или почти все и умел рассказывать об этом образно и увлекательно. В сущности, и о самом Регинине можно было бы написать не одну страницу, и те, кто его знал, должны были бы сделать это.

— Куприн был изобретателен, он всегда что-нибудь изобретал,— сказал Василий Александрович как-то,— особенно он изобретал людей. Он мог заставить поверить в качества или особенности того или другого человека, и все начинали верить, что это особенный человек. Начинал верить в это даже и тот, кого Куприн мистифицировал. Однажды в ресторане «Вена» он представил нам мрачного, взъерошенного человека, как испытанного предсказателя судеб. Тот сумрачно пил коньяк, затем брал руку того или другого из обсевших Куприна литераторов, долго смотрел на нее и наконец изрекал если не точно, то метко. На мою руку он тоже посмотрел и знаете, что предсказал? «Таланту много, а ничего не получится»... а ведь верно

предсказал,— вздохнул Регинин самоуничижительно.— Жизнь я прожил неудобную.— Но Регинин тут же согнал несвойственное ему минутное раздумье.— А знаете, кем оказался этот предсказатель? Мозольным оператором из Пушкарской бани. Куприн его так настроил, что он потом и в банях, срезая мозоли, предсказывал... говорят, даже по мозолям предсказывал. Впрочем, ничего тут хитрого нет,— добавил Регинин сентенциозно.— У каждой профессии свои мозоли... а раз знаешь профессию, нетрудно и предсказать.

Регинин тоже предположил, что надпись на книге Куприна относится к Ашешову, но тут же усомнился:

— Какой же из него мог получиться лорд-мер... если бы лорд-мерин, тогда другое дело.

Обидел он Ашешова, конечно, ради красного словца, тем более что надпись Куприна относится, может быть, вовсе не к Ашешову; кстати, Н. П. Ашешов был далеко не плохим литератором.

ПИСАТЕЛИ ЧЕХОВСКОЙ ПОРЫ



В конце девятисотых годов и в начале нашего века, когда росла и укреплялась слава А. П. Чехова, было немало писателей, с которыми Чехов дружил, находился в переписке, многих из них он одобрял и поддерживал, некоторых нежно любил. Разных масштабов были эти писатели, и когда перечитываешь письма Чехова к ним, то невольно задумываешься: что же, так и суждено им остаться только адресатами великого писателя, или это были тоже

одаренные люди, со своей судьбой, со своими книгами, со своим вкладом, пусть скромным, в литературу? В библиотеках, где ведется строгий счет тому, что́ читается, многие из этих книг, может быть, покажутся библиотекарям лишь ненужным балластом. Но так ли это? Имеют ли право на жизнь эти авторы, которых затмил Чехов своим талантом? Чехов никогда не делил писателей на больших и малых. В одном из своих писем к писателю Ивану Щеглову он писал:

«Чтобы помочь своему коллеге, уважать его личность и труд, чтобы не сплетничать на него и не завистничать, чтобы не лгать ему и не лицемерить перед ним,— для всего этого нужно быть не столько молодым литератором, сколько вообще человеком... Будем обыкновенными людьми, будем относиться одинаково *ко всем*...»

Анатоль Франс всегда испытывал особенное сочувствие к книгам потрепанным и забытым. В 1926 году в издании «Русского общества друзей книги» вышла книжечка, ныне чрезвычайно редкая,— «Господин Бержере у Старицына». Автор книги Абрам Эфрос описывает свою случайную встречу с Анатолем Франсом в Москве. В Леонтьевском переулке, в лавочке букиниста А. Старицына, Анатоль Франс нашел одну из своих книг. «Но в каком виде,— бог мой, в каком виде был этот злополучный томик «Иокасты»! Я потупился, как будто отвечал за лавчонку Старицына. Однако на лице Франса это его зачитанное, истерзанное дитя вызвало черту оживления». Эфрос приводит дальше фразу Франса из его «Литературной жизни»: «Истинного любителя я узнаю с первого взгляда, уже по одному тому, как он касается книги...»

Собирательство книг имеет в своей основе не только непосредственную любовь к книгам, но и уважение к тем, кто написал их.

Много лет томик за томиком подбираю я забытых писателей чеховской поры. Томики эти заняли у меня свыше двух полок, наглядно представляя широкую картину чеховской эпохи. Брат А. П. Чехова — Александр, писавший под псевдонимом А. Седой, был автором ряда книг, многие из которых вызвали строгие критические замечания А. П. Чехова. Так, например, совсем слаба его повесть «Хорошо жить на свете!..», вышедшая в 1904 году, но зато блестяще написаны воспоминания «В гостях у дедушки и бабушки», изданные в 1912 году в серии «Библиотека «Всхо-

дов» и объясняющие происхождение многих страниц чеховской «Степи».

С повестями А. Седого закономерно соседствуют отлично, с мягким юмором написанные книги Ивана Щеглова, того незадачливого «Жана», мнительного и неуверенного в себе, которого Чехов в десятках писем ободрял, нередко хвалил и поддерживал в минуты неудач и сомнений. Книги Щеглова «Добродушные рассказы» (1903), «Сквозь дымку смеха» (1894), «Наивные вопросы» (1903) свидетельствуют о таланте их автора и о том, что Чехов хвалил Щеглова меньше всего по дружбе.

Рядом со Щегловым нашли себе место книги несомненно одаренного писателя В. М. Михеева «Художники» (1894) и его же «Песни о Сибири». Книга «Художники» помимо своих достоинств примечательна еще и тем, что посвящена памяти В. М. Гаршина, и вся ее тематика перекликается с такими рассказами Гаршина, как «Художники» или «Надежда Николаевна».

Не один хороший рассказ можно найти и в книге Е. Гославского «Путем-дорогою» (1902) и в книгах В. Билибина, с которым Чехов находился в переписке. Билибин был юмористом и драматургом, автором маленьких одноактных пьес-шуток. Если вспомнить эпоху, когда Чехов начинал писать, журнал «Осколки» или «Петербургскую газету» с ее фельетонами, то «Юмористические узоры» В. В. Билибина (он же Диоген, И. Грэк), так же как и его «Пьесы в одном действии», напомнят атмосферу тех лет, хотя свои рассказы и пьесы Билибин собрал и выпустил в свет несколько позднее — в 1898 и 1902 годах.

Рассказы Н. Лейкина как бы венчают произведения плеяды писателей, окружавших Чехова в пору его литературной молодости и работы в «Осколках». Лейкин был одним из первых редакторов Чехова — он хвастал даже, что «открыл» Чехова,— был он и чрезвычайно плодовитым писателем, знатоком торговой жизни Петербурга, особенно жизни и быта «апраксинцев», этих прямых наследников героев Островского. Книги Лейкина «Теплые ребята», «Голубчики», «Наши за границей», «Под орех», несмотря на то, что тема была взята Лейкиным очень мелко, все же оставили картину быта и нравов целого сословия той поры; не следует забывать, что первую повесть Лейкина — «Биржевые артельщики» — приветили М. Е. Салтыков-Щедрин

и Некрасов и напечатали ее в «Современнике». Можно найти неплохие рассказы и у И. Потапенко и К. Баранцевича, и если бы выпустить антологию «Писатели чеховской поры», она была бы своего рода и памятником Чехову, помогавшему многим своим собратьям.

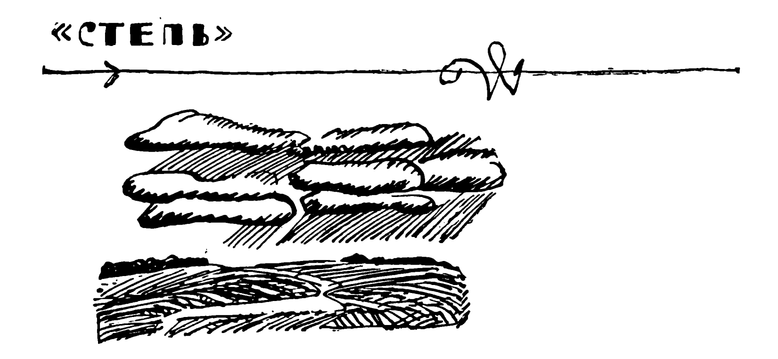
Я долгие годы дружил и переписывался с Марией Павловной Чеховой. У нее было много общего с братом, судя по воспоминаниям современников о нем. Но одной своей чертой Мария Павловна особенно напоминала его: она строго помнила завет Чехова, что нет писателей больших или маленьких, что в литературе каждый по мере сил делает свое дело, что все писатели — собратья по перу; именно так — пусть несколько старомодно, но старомодность эта высокого смысла — думала Мария Павловна о писателях.

«Вы приезжайте в Ялту отдыхать,— написала она мне в одном из писем,— много найдете перемен к лучшему и, кстати, побываете в музее Чехова и обновите Ваши воспоминания о собрате по перу».

Совет был добрый, но дистанции по своим душевным свойствам Мария Павловна не учла, я был в Ялте и поклонился Чехову, даже отдаленно не посмев подумать о нем как о собрате по перу. И все же, ставя время от времени на книжную полку то одну, то другую книжку современника Чехова, я представляю себе чеховскую эпоху во многих случаях как содружество собратьев по перу и радуюсь, что Чехов оставил строгий завет относиться к каждому писателю, безотносительно от размеров его дарования, как к деятелю литературы, поступившемуся именно ради нее многими радостями жизни. Для полноты представления об окружении Чехова я ставлю на эту полку книги и тех литераторов, с которыми Чехов дружил, но впоследствии резко разошелся. Собрание рассказов, фельетонов и заметок А. Суворина (Незнакомца), вышедшее в 1875 году под названием «Очерки и картинки», ныне весьма редко; это была сильная критическая пора в жизни Суворина, изолгавшегося и исподличавшегося в дальнейшем. Книга Николая Ежова «Облака» (1893), которому Чехов немало помогал и который затем недостойно оклеветал Чехова, тоже может занять место в этом ряду; дополняет круг писателей, окружавших Чехова, и Сергей Филиппов со своими «Встречами и впечатлениями», вышедшими в 1894 году под названием «Под летним небом».

Книги этих писателей, несмотря на то, что они не оставили следа в литературе, помогают, однако, глубже почувствовать чеховскую эпоху: все-таки с этими писателями Чехов был в переписке, читал их книги, высказывался о них; из биографии Чехова имена эти не выкинешь, а, взятые вместе, они дают широкую картину литературной жизни конца прошлого века.

«СТЕПЬ»



К столетию со дня рождения А. П. Чехова вышел очередной, шестьдесят восьмой том «Литературного наследства», целиком посвященный Чехову. В этом томе опубликованы, между прочим, письма поэта А. Н. Плещеева, который одним из первых приветил молодого Чехова, дружил с ним, и в переписке А. П. Чехова есть немало обращенных к Плещееву дружественных и душевных писем.

Плещеев, опубликовавший в 1888 году в журнале «Северный вестник» пленившую его повесть Чехова «Степь», с радостью сообщает, что повесть эта понравилась и В. Г. Короленко. В частности, повесть эта понравилась и критику-дилетанту, инженеру по профессии, Петру Николаевичу Островскому, сводному брату великого драматурга А. Н. Островского.

В одном из писем Плещеев сообщает Чехову:

«Островский тоже намерен, кажется, написать рецензийку (но, впрочем, вероятно, не для печати) в форме письма к вам и нетерпеливо ждет оттиска».

Письмо от Островского Чехов действительно получил и в письме от 6 марта 1888 года написал об этом Плещееву:

«Сегодня, дорогой Алексей Николаевич, я прочел 2 критики, касающиеся моей «Степи»: фельетон Буренина и письмо П. Н.Островского. Последнее в высшей степени симпатично, доброжелательно и умно. Помимо теплого участия, составляющего сущность его и цель, оно имеет много достоинств, даже чисто внешних...»

Читая письма Плещеева, напечатанные в «Литературном наследстве», я мысленно перенесся в ту далекую пору, когда только начиналась слава Чехова и когда напечатанная в «Северном вестнике» повесть «Степь» заставила многих увериться в его растущем таланте.

Именно в те часы, когда читал я письма Плещеева к Чехову, у меня на столике зазвонил телефон. Как и у многих писателей, давно сложилась у меня дружба с целым рядом молодых литераторов, первые вещи которых я читал; отведена у меня в одном из моих книжных шкафов и полочка, ныне уже до отказа заполненная первыми книгами этих молодых писателей, многих из которых я знал еще студентами Литературного института.

— Не могу ли я зайти к вам на минутку,— сказал позвонивший мне по телефону молодой литератор, еще недавно летчик по профессии.— Я хочу вручить вам на память одну вещичку. А нахожусь я от вас совсем поблизости.

Мы договорились, и действительно через четверть часа литератор этот был у меня.

— Вы ведь любите Чехова,— сказал он, протягивая завернутую в газету книгу. — Может быть, вам это будет интересно.

Книга, в достаточной мере потрепанная, оказалась переплетенной в один том со статьей «Мильон терзаний» о Грибоедове из журнала «Вестник Европы» и рядом статей о французской литературе — Фонтенеле, Вольтере, Дидро, а первым был вплетен в эту книгу оттиск «Степи» А. Чехова, именно тот, который А. Плещеев торопил Чехова послать П. Н. Островскому, притом с надписью Чехова: «Петру Николаевичу Островскому. А. Чехов. 1888». Книга эта, по словам подарившего ее мне литератора В. И. Погребного, принадлежала какому-то парикмахеру, любителю чтения, нашедшему ее среди хлама в сарае.

Конечно, это только случайность, что оттиск «Степи» попал мне в руки именно в те минуты, когда я читал о нем в «Литературном наследстве», но ведь собирательство книг не всегда бывает планомерным, оно зависит нередко от случаев, однако совокупность случаев создает своего рода планомерность, по старой русской пословице, что «на ловца и зверь бежит».

Так или иначе, мне дорог подарок молодого литератора, я отделил «Степь» от случайных статей, с которыми она была переплетена, отдал оттиск переплетчику, он переплел его, и приплывшая ко мне из безвестных далей повесть «Степь» встала в один ряд с книгами Чехова в первых изданиях и начала свыше полувека спустя свою новую жизнь.

НАДПИСИ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА



Леонид Андреев умел сильно чувствовать, сильно любить и горько отчаиваться — особенно в те годы, когда только складывалась его литературная судьба и он познавал и первые радости и первые огорчения. Книга рассказов Андреева, сразу пробудившая интерес к писателю, вышла в 1901 году; Андреев еще работал в газете «Курьер»; некоторые рассказы, вошедшие в книгу, были до этого напечатаны именно в «Курьере». Редактор газеты Я. А. Фейгин помогал Андрееву и на его писательском пути. Старейший ленинградский книжник Федор Григорьевич Шилов, автор вышедших недавно воспоминаний «Записки старого книжника», подарил мне в один из моих приездов в Ленинград именно первую книгу рассказов Леонида Андреева.

Авторская надпись на ней свидетельствует об отношении Андреева к своему первому редактору: «Многоуважаемому Якову Александровичу Фейгину от автора, искренне благодарного за постоянную дружескую поддержку».

Но есть у меня и пятое издание этой книги, вышедшее в 1902 году. Экземпляр этот переплетен в кожу разных цветов, составляющую на крышке пейзаж в виде ночных облаков и луны, просвечивающей сквозь ветку дерева. В книгу вплетен портрет Леонида Андреева той поры, когда он носил сапоги и русскую поддевку, и на первой странице есть авторская, глубоко биографическая надпись.

«Милому Сергюшу. То, что я позвал тебя, и только тебя мог позвать в такую минуту жизни, для помощи в таком деле — говорит, как я люблю тебя и верю тебе. А почему люблю, почему верю, о том напишу.

Твой Леонид».

Одним из ближайших друзей Андреева был московский врач Сергей Сергеевич Голоушев, писавший литературные и искусствоведческие статьи под фамилией Сергей Глаголь. О Голоушеве в своей книге «Записки писателя» с теплотой и признательностью вспоминает Н. Д. Телешов.

Вполне возможно, что в архиве С. Голоушева, которого многие друзья любовно назвали Сергюшом, и сохранилось письмо Андреева, разъясняющее эту надпись на книге; даты под надписью нет, она могла быть сделана много позднее выхода книги, может быть, в тот год, когда умерла первая жена Андреева,— один из самых трагических периодов в его жизни...

Покойный писатель Николай Дмитриевич Телешов, которому я показывал эту книгу, сказал:

— Голоушева я тоже мог бы позвать в тяжелую минуту жизни. Человек он был достойный и верный, а Леонид Андреев всю жизнь тосковал по верным людям. В Голоушеве на этот счет он не ошибся.



КРЕЙСЕР «РУССКАЯ НАДЕЖДА»

Гравюра на серой обложке книги под названием «Крейсер «Русская Надежда» изображает море, крейсер в плавании, летящих над ним чаек и скрещенный с якорем морской андреевский флаг. Книга выпущена в 1887 году в С.-Петербурге, имя автора скрыто под инициалами «А. К.» Имя это, однако, расшифровано переплетчиком в надписи золотом на корешке: А. Конкевич.

Я равнодушно взял как-то в руки эту книжку с прилавка букинистического магазина. Ее специальное морское содержание не заинтересовало меня: фамилии Конкевич я не знал. Впоследствии я прочел о нем в «Воспоминаниях» С. Ю. Витте: «По наружности Конкевич представляет собой тип «морского волка», настоящего моряка. Он очень много и хорошо пишет в газетах... Конкевич — прекрасный, умный, замечательно прямой и честный человек; естественно, что благодаря таким своим качествам он, как подчиненный, не мог быть в особо хороших отношениях со своим начальством великим князем Александром Михайловичем».

На титуле книжки была авторская надпись: «Глубоко уважаемому... (неразборчиво) от автора, с просьбой прочесть загнутые стр. 186—197. 18 Февраля, 904. С.-Петербург».

Надпись тоже не заинтересовала меня, но я полюбопытствовал все же, почему автор просит прочесть именно указанные им страницы. Я открыл книгу на 186-й странице и почти с первых же строк прочел следующее: «Лейтенант Василий Михайлович Лидин, живший три года в Лондоне и отлично владевший английским языком, был назначен капитаном «Коллингвуда»...»

События, описанные в книге, относятся к военному конфликту между Англией и Россией, когда англичане без объявления войны захватили в Александрии и Суакиме несколько судов «Русского общества», и о крейсерских действиях «Русской Надежды» в Тихом океане. «Коллингвуд» был английским судном, захваченным с грузом нефти русским военным кораблем. Капитаном этого судна и был назначен именно Лидин, на характер и действия которого автор, судя по его надписи, просил обратить особое внимание.

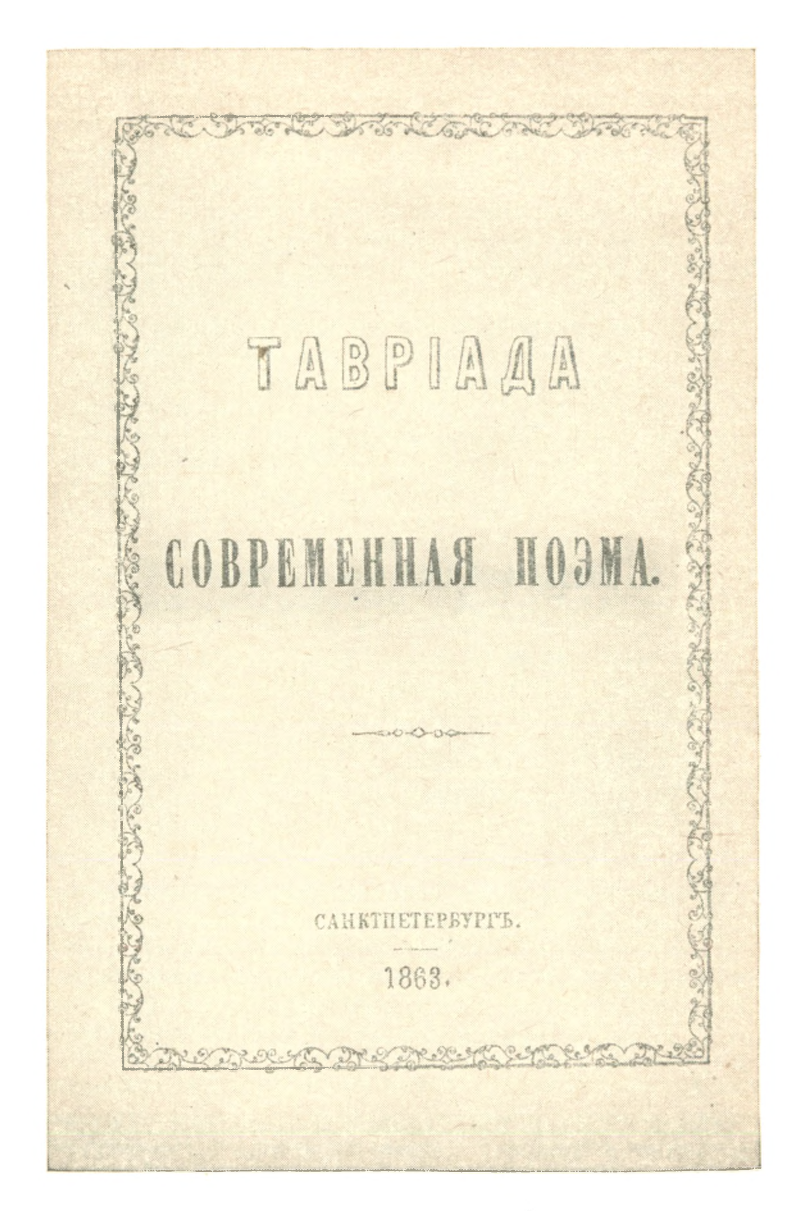
Мало ли бывает на свете случаев совпадения имен; но когда свыше семидесяти лет после своего выхода книга попадает в руки собирателя, и тот, следуя указанию автора, открывает ее на указанной им странице и встречает свое имя, он не может не подивиться этому. Но в жизни книголюба все его находки в конечном итоге закономерны: на то он и искатель, чтобы находить.



«Непомерно дорогая цена сей поэмы, крайне несоразмерная с ея достоинством, сознается самим автором... Настоящая же цена потому высока, что 1) *выручка имеет целью доброе дело*, 2) издание редко по незначительному количеству экземпляров и 3) сюжет поэмы со всеми героями поднимает значительно ценность труда.

Издатель».

Так сказано в предисловии к книжечке «Тавриада. Современная поэма», изданной в Санкт-Петербурге в 1863 году. Автор книжки — князь Владимир Мещерский; имя это впоследствии получило весьма печальную известность: Мещерский был издателем журнала «Гражданин»,


ТАВРІАДА

СОВРЕМЕННАЯ ПОЭМА.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1863.

Титульный лист книги В. Мещерского

одного из самых реакционных изданий, и поэтические упражнения Мещерского в молодости давно были забыты им в поклепах и доносах на тех, кто не разделял интересов дворянства.

Поэма «Тавриада» посвящена открытию в 1861 году катков и санных катаний с гор в саду Таврического дворца в Петербурге. «Заметно стало во всем Петербургском обществе какое-то непреодолимое стремление предаваться этим упражнениям. Стариками, старухами, зрелыми и незрелыми овладела лихорадочная страсть покупать коньки, надевать их, скакать в Таврический сад, падать раз двадцать в минуту и т. п. ... В гостиных и на балах разговаривали только о катании на коньках и стали о ужас! танцуя выделывать «па» на подобие тех, которые выделываются при катании на коньках... Вот в это-то время среди толпы, посещавшей ежедневно Таврические горы, нашелся один из тех избранников судьбы, которым она предназначает воспеть минувшие дни и приберегать в звучных песнях следы данной эпохи в назидание грядущему потомству»,— пишет в введении автор. Поэма, однако, не столь безобидна: в ней довольно зло высмеиваются некоторые дипломаты:

Вот сам посол, седой вельможа,
Забыв Сен-Жемский кабинет,
Летит с горы на брюхе лежа,
Как будто лорду двадцать лет.

Или:

Вот дипломат австрийской школы,
Красавиц наших идеал:
Все льнут к нему как к меду пчелы,
И бал теперь у нас не бал,
Когда австрийских аполлонов
Не хочет с дура кто позвать.

С какой благотворительной целью эта редчайшая ныне книжечка была выпущена в количестве тридцати трех экземпляров по цене три рубля серебром за экземпляр,— неизвестно. Еще в меньшем количестве — двадцать пять экземпляров — было выпущено специально для императорской фамилии описание декабрьских событий 1825 года. В целях прославления действий Николая I, жесточайше подавившего Декабрьское восстание, статс-секретарь барон М. А. Корф составил эту фальсифицированную историю событий. Ее составитель не предполагал, конечно, что

в России рано или поздно произойдет революция и книга эта останется в виде эталона лживой версии о событиях в декабре 1825 года и об их участниках.

Кстати, тот же барон М. А. Корф, бывший впоследствии членом негласного комитета для надзора за книгопечатанием, а затем директором Публичной библиотеки, напечатал в количестве тридцати экземпляров произведение своей малолетней, вскоре затем скончавшейся дочери Елены Корф «История моего котенка». Любопытно отметить, что фальсифицированное «Четырнадцатое декабря 1825 года» и «История моего котенка» отпечатаны в одной и той же Типографии 11-го Отделения собственной е. и. в. Канцелярии; барон М. А. Корф был явно лишен способности понимать историю.

НЕИЗВЕСТНЫЙ РИСУНОК КЛАВДИЯ ЛЕБЕДЕВА



Художник Клавдий Лебедев известен как автор ряда исторических и жанровых картин; в Третьяковской галерее хранятся его «Боярская свадьба», «На родине», «К сыну». Но иногда рисунок или даже набросок передают умонастроение художника больше, чем широкие его полотна. Полотна пишутся для всеобщего обозрения, они публичны; рисунки, подобно записям писателя в записной книжке, пишутся зачастую для себя.

Одна такая запись Клавдия Лебедева свидетельствует о его несомненно большом интересе к личности и деятельности Льва Толстого. Поселившись с конца пятидесятых годов в Ясной Поляне, Толстой увлекся педагогикой, основал



Акварель Клавдия Лебедева «Толстой в яснополянской школе»

сельскую школу, сам преподавал в ней. Немало сил он приложил и к тому, чтобы издавать педагогический журнал «Ясная Поляна», «Азбуки», «Русскую книгу для чтения».

Книг этих ныне не найдешь; в большинстве случаев они, наверно, познали судьбу учебников, были зачитаны или потеряны детьми; уцелевшие экземпляры редки. Но у меня хранится один особо примечательный экземпляр переплетенных в один том всех четырех книг «Азбук графа Л. Н. Толстого», вышедших в 1872 году. В этот том вплетен оригинал рисунка Клавдия Лебедева; на рисунке изображен Лев Толстой в яснополянской школе. Толстой еще полон сил, с черной бородой, на вид ему около пятидесяти лет. Судя по всему, рисунок Лебедева сделан с натуры: все на нем в такой степени документально, с такой точностью изображены и учитель и школьники, что можно предположить даже портретное сходство; особенно это относится к Льву Толстому.

Возможно, что в архиве Клавдия Лебедева, если архив этот уцелел, и хранятся записи о его посещении Ясной Поляны; а может быть, нашлась бы и запись о влиянии Толстого на художника. Рисунок, сделанный в яснополянской школе, не походит на случайно попавший под руку сюжет: он внутренне выношен художником; и если беглая

запись в записной книжке писателя приоткрывает иногда его глубокие замыслы, то и рисунок Лебедева кажется заявкой на большое полотно.

ИСКАТЬ И БЕРЕЧЬ



Писатель Влас Дорошевич долгие годы собирал редчайшую коллекцию — листки, летучие издания, газеты и журналы времен Великой французской революции. В его собрании был полный комплект газеты «Друг народа», издававшейся Маратом.

Со времени Великой французской революции прошло свыше полутораста лет; со времени Великой Октябрьской революции — меньше полувека. Но время стремительно и безжалостно. Оно уносит многое, что человек не успел закрепить в документе, оно уносит и документ, если его не сумели сберечь.

Издания первых лет нашей революции именно такого рода документ; издания эти уносились по дорогам гражданской войны, раскуривались на цигарки, ими топили «буржуйки», когда нечем было топить: они всё испытали, свидетели первых суровых лет революции. Н. П. Смирнов-Сокольский, этот доблестный болельщик книжного дела, писал уже об этих развеявшихся по ветру изданиях. Но и он не сберег многого, потому что не собирал в ту пору; не сберег и я — и по нерадению, и по неопытности, и по тому, что те годы меньше всего располагали к собирательству.

Однако у меня есть несколько книжечек той поры, книжечек зябких, бледно отпечатанных на ломкой, недол-

говечной бумаге, похожих на сохранившиеся календарные листки того времени. В 1921 году в Поволжье, выжженном засухой и суховеями, был голод. Голод бывал в России не раз. Сейчас, при гигантских масштабах землепользования, освоенных целинных землях, механизации сельского хозяйства, искусственном орошении, картины голода кажутся далеким прошлым. Но в 1921 году голод зашел не в один дом на широких пространствах Поволжья.

Именно в эту пору Самарская губернская комиссия помощи голодающим выпустила книгу под таким названием:

«Книга о голоде. Экономический, бытовой, литературно-художественный сборник. Весь чистый доход поступит в пользу голодающих».

Книге предпослана статья Антонова-Овсеенко «К твоей совести, читатель», заключающаяся словами: «Не может быть и речи о каком-либо успехе нашем, если не спасем Поволжье от гибели. Помните, труженики Советской России, не только судьба миллионов людей, ваших братьев, решается на Волге,— на ней решается и ваша собственная судьба. Торопитесь на помощь Поволжью!» Сборник снабжен трагическими фотографиями, вплоть до документов людоедства.

В помощь же Поволжью вышел во Владимире в 1921 году сборник «Пролетарская помощь». «Спасая Поволжье, спасаем себя»,— напечатано на обороте книжки, изданной «трудами Владимирского губполитпросвета, Госиздата и полиграфотдела». На задней обложке книжки напечатано: «Цена 3.000 р. Купишь книгу — дашь кусок хлеба голодному. Весь сбор поступит в пользу голодающих Поволжья».

Многих из таких книжек нет даже в основных наших книгохранилищах: они погибали, не добравшись до библиотек.

В минувшую войну мне привелось побывать на Украине в городе Смела на другой день после изгнания немцев. Печатался первый по освобождении номер районной газеты; бумаги не было; его отпечатали на синей оберточной бумаге для сахара, уцелевшей на одном из местных сахарных заводов. Я сохранил этот первый номер и не уверен, уцелел ли еще один экземпляр; конечно, я передам его в музей. В 1940 году в Каунасе, в дни, когда Литва готовилась присоединиться к Советскому Союзу, выходила на

русском языке газета «Труженик»; вряд ли много ее номеров сохранилось в те быстротекшие дни, но я сберег номера за все время, что находился в Каунасе, и теперь это библиографическая редкость.

Разбираясь как-то в старых бумагах, я нашел среди них приглашения на встречи с Анри Барбюсом, Бернардом Шоу, Карин Михаэлис, Кларой Цеткин, пропуск на встречу с М. Горьким на Белорусском вокзале в первый его приезд в Москву; я храню как реликвию и пропуск к гробу В. И. Ленина. История дышит в этих документах; в них запечатлена и жизнь каждого из нас; по приглашениям этим или пропускам будущий литературовед или историк сможет установить точные даты, которые иногда отсутствуют даже в официальных документах. Так, сохранившееся у меня приглашение на чтение Алексеем Толстым своего рассказа «День Петра» в литературном кружке «Среда» помогло биографу Толстого установить точную дату написания этого рассказа.

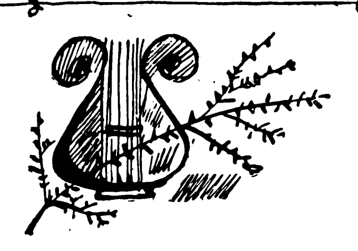
В первые годы революции я нашел в книжном магазине «Задруга» целую пачку книги «Тихие песни», автором которых был обозначен Ник. Т-о, то есть *никто* — псевдоним поэта Иннокентия Анненского. Анненский был недоволен своей первой книгой, выискивал ее и уничтожал, книга эта считалась редкостью уже в то время. Я купил всю эту пачку и раздарил книги любителям поэзии, немало порадовав их, а один экземпляр хранится у меня и поныне.

Такими бывают иногда судьбы книг, и если любишь книгу, то никогда не дашь ей погибнуть: у каждой книги есть своя судьба, особенно у книг, выпущенных в исторические годины. По книгам, вышедшим в первые годы революции или в дни Великой Отечественной войны, будут учиться будущие поколения.

Истинное собирательство книг заключается не в одной только страсти — сделать полнее, богаче свое собрание, ослепляющей иногда книголюба. Оно заключается прежде всего в осмыслении своего собирательства, в понимании его назначения хотя бы в пределах личного развития, а не для того, чтобы любоваться своими редкостями.

Французский египтолог Гастон Масперо приводит сохранившийся еще в клинописи поучительный завет египетского писца Кхроди своему сыну Пепи: «Положи твое сердце у чтения».

ИЗ МИСТИФИКАЦИЙ



Поэты эпохи символизма были склонны ко всякого рода литературным мистификациям. Известна, например, мифическая поэтесса Черубина де Габриак, придуманная поэтом Максимилианом Волошиным; о ней серьезно трактовалось в печати чуть ли не как о представительнице итальянской поэзии, хотя настоящее имя поэтессы было Елизавета Ивановна Дмитриева. Склонен был к мистификациям и поэт Валерий Брюсов в пору своей молодости.

В одну из первых книжек его стихов — «Me eum esse»,— вышедшей в 1897 году, я вклеил листок, скопированный мной с оригинала; оригинал находится в Центральном государственном архиве литературы и искусства и представляет собой апокрифическое предисловие, написанное Брюсовым к его книге:

«Me eum esse» — последняя книга Валерия Брюсова, который скончался... (число) 1896 года в Пятигорске. Незадолго перед смертью автор сам составил рукопись этой книги, хотя далеко не считал ее законченной.

Издатели надеются в непродолжительном времени собрать в отдельном сборнике также все появившиеся в печати переводы Валерия Брюсова. А. Л. Миропольский. Москва. 1896».

Мистификация эта осуществлена не была, книжка вышла без предисловия. Может быть, молодой поэт хотел проверить, как критика отнесется к книге умершего автора, тем самым заслуживающего снисхождения, а может быть, это был и своего рода вызов критике. Экземпляр, в который я вклеил копию предисловия, написанного Брюсовым, имеет еще одну особенность — незаконченную авторскую надпись поэту-символисту А. Добролюбову: «Александру Добролюбову, поэту, которого я неизменно люблю и...» Возможно, Брюсов не успел дописать

или забыл дописать посвящение, а может быть, это тоже относится к числу тех загадок, которыми изобиловали всякого рода литературные мистификации.

К такого рода мистификации относится и одна весьма редкая книжечка, вышедшая в 1838 году,— «Рукопись покойного Клементия Акимовича Хабарова, содержащая рассуждение о русской азбуке...». Приложена к ней и «Усовершенствованная русская азбука или средства облегчить изучение оной и способ сократить число русских букв, поясненные примерами. Сочинение К. А. Хабарова отставного корректора. Бутырки. 1800 года Генваря 5 дня».

Книжка представляет собой псевдонаучный трактат об изменении и совершенствовании русского языка, в частности о том, что из русской азбуки следует изъять восемь бесполезных букв. В качестве примера облегченного правописания приводится стихотворение Г. Державина из Московского журнала 1792 года, изданного Карамзиным.

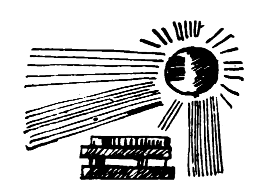
ВИДЕНИЕ МУРЗЫ

На темноголубом ефире
Златая плавала луна;
В серебрянŏ свŏ порфире
Блистаючи, с′высот она
Сквоз̌ окна дом мŏ освечала...

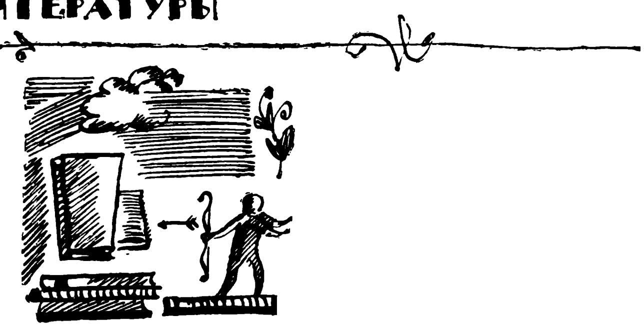
Значки должны были заменять упраздненные буквы: й, ъ, ь.

Истории этой мистификации был посвящен в 1928 году специальный доклад в Ленинградском обществе библиофилов.

Автором книжки был брат лицейского товарища Пушкина литератор П. Л. Яковлев, придумавший себе псевдонимы: «покойный Клементий Акимович Хабаров» и «отставной корректор». Зерно истины было, однако, в этом пародировавшем ученый труд сочинении: буквы ять, фита, а также і действительно выпали из алфавита при реформе правописания в наше время; в этом отношении автор трактата оказался провидцем.



ГЛАВЫ ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ



Как-то в давние времена мне привелось увидеть в одном из букинистических магазинов трехтомное собрание сочинений Глеба Успенского в издании Ф. Павленкова. На первом томе была дружественная надпись Успенского писателю А. И. Эртелю. К авторским надписям я был в ту пору равнодушен и теперь сожалею об этом; сожалею я и о книге с надписью Успенского еще и потому, что несколько лет назад в мои руки попало первое издание книги А. И. Эртеля «Записки степняка» (1883) с сердечной авторской надписью Успенскому:

«Глебу Ивановичу Успенскому — любимому писателю и милому, дорогому человеку. Одному из первых, внесших свет в мою душу. А. Эртель. 14 Ноября 1883 г. Спб.».

Надпись эта, в сущности, могла бы послужить для главы об истории писательских отношений и о воздействии Глеба Успенского на творчество Эртеля.

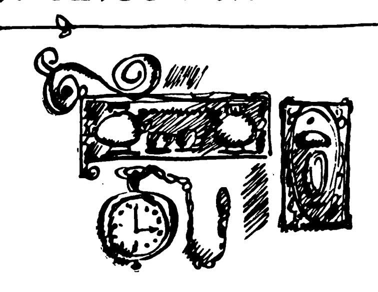
Такой же главой из истории литературы может служить надпись Вл. И. Немировича-Данченко на экземпляре его пьесы «В мечтах». Пьеса эта, как известно, была поставлена на сцене Московского Художественного театра, шла с успехом, и автор мог бы быть довольным, но у него было свое мнение о пьесе и глубокая неудовлетворенность ею.

«В эту пьесу я отдал много-много своих лучших чувств,— написал он на экземпляре книги Е. Ф. Цертелевой. А пьеса не задалась! Не знаю, что случилось. Я думаю, что театр вырвал ее у меня, когда мне надо было еще переписать ее поперек. А может быть, надо было бы после первых трех действий написать еще два?..

Чехов говорил мне, что в пьесе мало «житейской пошлости». А я этого и хотел. Т. е. пошлости оч. много, но вся она не на вульгарном языке пошлости, а на языке «мечтаний»... ВНД».

Конечно, эти мужественные строки Немировича-Данченко помогут будущему историку театра, обратившемуся к постановке «В мечтах» на сцене Художественного театра, положить в основу именно эту самооценку автора, более достоверную, чем любые толкования со стороны. Я перепечатал эту надпись и отдал ее в Музей Художественного театра, где она сможет занять место рядом с другими документами по его истории.

«МОСКОВСКИЕ СКАНДАЛЫ И БЕЗОБРАЗИЯ»



Книг о Москве написано множество. Представители каждого поколения оставляли воспоминания о годах своей юности, прошедшей в Москве, о московской общественной, литературной или театральной жизни. Так, «Записки современника» С. П. Жихарева помогают нам познать литературно-театральную жизнь Москвы первой четверти девятнадцатого века, их высоко ценили и И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой. А без «Литературных воспоминаний» И. И. Панаева или «Воспоминаний» А. Я. Панаевой нельзя было бы представить себе литературную жизнь Петербурга времен «Современника», да во многом и жизнь его редактора — Н. А. Некрасова.

Книги такого рода занимают почетное место в истории литературы, по ним изучают эпоху, на них ссылаются в исторических и литературоведческих работах. Но есть и

другие книги, связанные с бытом того или другого города, с его жизнью в ту или иную эпоху; книги эти написаны неведомыми людьми; в истории литературы авторы этих книг не значатся, и если о книгах этих вспоминают, то лишь как о библиографической редкости или курьезе. Но книги эти, однако, приоткрывают забытые страницы, не связанные ни с историческими или социальными событиями; они просто напоминают о том, что́ составляло предмет забот, развлечений, малых утех множества простых людей, а иногда, не преследуя обличительных целей, книжки эти, однако, дают представление о разгуле и бесчинствах купеческих сынков или о нравах городского мещанства.

В 1836 году в Москве вышла маленькая, давно затерявшаяся во времени книжка под странным названием: «Взгляд на московские вывески». Автор ее — Федор Дистрибуенди — никому не известен; имени его не найдешь в словарях. Книжка посвящена описанию, притом весьма образному, московских вывесок сороковых годов прошлого века. Очень подробно и достоверно Дистрибуенди сообщает, как выглядели вывески табачных лавок, портных, сапожников, трактиров и рестораций, булочников, повивальных бабок, часовщиков, питейных домов, аптек. «Два золотых самовара, стоящих по краям вывески и посреди их стол, покрытый белою скатертью с чайниками и чашками, расположенными в разных группах; а над столом надпись золотыми буквами: р е с т о р а ц ы я, означают вам однообразие трактирных вывесок». Или: «...На продолговатом четвероугольном листе посредине красуется большой вызолоченный крендель, лежащий вдоль вывески; на нижних углах листа по хрустальной вазе, которыя наполнены разными принадлежностями булочного мастерства: сухарями, крендельками, бисквитами, а под кренделем между вазами имя и фамилия булочника».

Если обратиться к первой части «Мертвых душ» Гоголя, к прогулке Чичикова по улицам губернского города, то описание вывесок весьма походит на некоторые описания Дистрибуенди. Гоголь всегда подбирал не только народные словечки и песни, но и приметы быта; по своей манере и изображению автор «Взгляда на московские вывески», возможно, и расположил к себе Гоголя точностью: Гоголь любил в описаниях точность. Кстати, о книжечке

Дистрибуенди поминает в этом смысле и один из биографов Гоголя.

Весьма возможно, что это действительно так и Дистрибуенди сослужил службу великому писателю, оставив тем самым и свой след в литературе, хотя бы косвенный и неприметный. Но и помимо этого книжечка Дистрибуенди воскрешает вид московских улиц в ту далекую пору, когда по ним ходили Пушкин и Гоголь, и если бы для какой-нибудь театральной постановки нужно было воскресить внешний вид Москвы тридцатых и сороковых годов прошлого века, то и в этом случае книжка «Взгляд на московские вывески» сослужила бы службу.

К физиологии города относится его торговая жизнь, нравы и обычаи. Н. Некрасов выпустил в свое время сборник «Физиология Петербурга» (1844), в котором Д. Григорович описывал петербургских шарманщиков, В. И. Луганский — петербургских дворников, И. И. Панаев — петербургских фельетонистов, а сам Некрасов — петербургские «углы» и чиновников. О Москве того времени такого сборника нет. Но в 1870 году была выпущена несомненно ради сенсации книга под названием «Московские скандалы и безобразия», в которой описываются «замечательные уголовные процессы в окружном суде и у мировых судей», а попросту всевозможные скандалы и именно безобразия гуляющих мещан и купчиков. Не исключено, что составитель, как это было свойственно желтой прессе того времени, пощадил кое-кого из откупившихся. Но упомянутые в книжке предстали в самом низком виде. Впрочем, возможно, что составитель руководствовался и обличительными тенденциями, и тогда незачем обижать его запоздалыми подозрениями.

Перечисление описываемых в книге дел дает полное представление о их характере и некоторых нравах: «Дело о купце Э. В. Трузе, обвинявшемся в учинении драки в пьяном виде в трактире «Эрмитаж», «Дело об окрашении прусского подданного Гельдмахера фуксином», «Дело об адъютанте Московского генерал-губернатора, гвардии штабс-ротмистре, князе Э. М. Урусове, обвинявшемся в оскорблении действием студента Павла Кистера и в угрозе отрубить ему голову», «Дело об оскорблении действием чиновником канцелярии гражданского губернатора Н. М. Щепотьевым сотрудника журнала «Развлечение» коллежского секретаря Акилова и о произведении им же,

Щепотьевым, беспорядка в коридоре московского Большого театра»...

По существу, все эти московские процессы изобличают самодуров, негодяев, мздоимцев, представленных целой галереей истцов и ответчиков, но они попутно изобличают и правосудие того времени, весьма щадившее людей торговых и имущих и попиравшее право бедных и обездоленных.

В воспоминаниях Н. Д. Телешова «Записки писателя» упоминается весьма редкая книжка стихов издателя бульварной газеты «Московский листок» Н. И. Пастухова. Перед тем как стать издателем, Пастухов служил в питейном доме в качестве подавальщика. Хорошо зная быт и нравы учреждений такого рода, он в 1862 году выпустил книжку «Стихотворения (из питейного быта) и комедия «Питейная контора». Противники Пастухова едко пользовались постоянным напоминанием об этой стороне деятельности Пастухова, находя, что именно в ней, а не в издательском деле он нашел свое истинное призвание:

То ли дело в Петербурге,
Там тузы-откупщики
Дают жалованья вдвое,
Да и взяточки бери...

Такие строки давали богатый материал для противников. Но сколько автор ни скупал и ни уничтожал свою книжку, экземпляры ее все же уцелели, и один из них стоит у меня на полке рядом с другой книжкой, связанной с историей старой Москвы,— «О петушиных боях в Москве». Автор книжки В. Соболев — дед известного театроведа и литературного критика Юрия Соболева; в книжке обстоятельно рассказывается об одном из жесточайших развлечений московского купечества и мещанства — петушиных боях, с описанием приготовления петухов к боям и особенностей их сноровок: петухи имели в бою каждый свою сноровку или, выражаясь по-охотничьи, ход. Ходы эти делились на прямой, кружастый, посылистый и вороватый, причем вороватый петух считался самым интересным: петух этот в бою начинает лезть под противника, «прячась от его ударов и подставляя под них один свой хвост, и в то же время старается схватить противника за перо (обыкновенно вползоба) и нанести ему удар... Последствием этих уловок обыкновенно бывает то, что про-

тивник вороватого петуха измучается, не нанеся ему никакого вреда, а сам остается искалеченным и побежденным». Делились петухи на: хлопуна, который сильно хлопает крыльями, но не попадает шпорами в противника: верного, который бьет противника в голову, глаза и в горло; неверного, который бьет в хвост, крыло и спину, то есть в места, не опасные для противника. Приложены к книжке и правила боя, состоящие из двадцати семи параграфов.

Я подбираю и храню книги, в которых описание быта и нравов прошлого помогают лучше понять и литературу того времени, вроде «Московских нор и трущоб» М. А. Воронова и А. И. Левитова, «Очерков из фабричной жизни» А. Голицынского или «В будни и в праздник (Московские нравы)» Глеба Успенского. А такие книги, как «Очерки Москвы» Н. Скавронского или «Из жизни торговой Москвы» И. А. Слонова, представляют собой целую энциклопедию торговой и общественной жизни, хотя и книги эти и их авторы прочно забыты ныне. Но хочешь видеть будущее и понимать настоящее — знай и прошлое: без этого не поймешь масштабов великих изменений нашей жизни.

ПЕРВОЕ ВОЗДУШНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ



24 мая 1847 года из Дворцового сада в Москве в половине девятого вечера поднялся аэростат, управляемый воздухоплавателем Вильгельмом Бергом. Это первое «воздушное путешествие» было отмечено двумя памятками: «Заметки об аэростате и воздухоплавании с описанием первого воздушного путешествия воз-



ЗАМѢТКИ

объ

АЕРОСТАТѢ И ВОЗДУХОПЛАВАНІИ

съ описаніемъ

ПЕРВАГО ВОЗДУШНАГО ПУТЕШЕСТВІЯ

ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЯ

ВИЛЬГЕЛЬМА БЕРГА

въ Москвѣ 24-го Мая 1847 года

ПРОГРАМА ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНІЯ

высокопочтенной публики во время наполненія шара.

Титульный лист программы первого воздушного путешествия

духоплавателя Вильгельма Берга в Москве 24-го Мая 1847 года. Программа для развлечения высокопочтенной публики во время наполнения шара» и книжечкой «Подробное описание воздушных путешествий Берга и Леде, совершенных ими из Москвы в 1847 году».

«Погода была чудная: на небе ни облачка, а легкий ветерок едва струил воздух... Вид на Москву был очарователен... Москва представилась горстью бисера, кинутого на роскошный ковер зелени...».

Первое путешествие длилось недолго: шар упал в тридцати верстах от Москвы, в лесу, около дороги, ведущей в Сергиевскую лавру. Второе путешествие было осуществлено 29 июня; на этот раз шар благополучно спустился в двенадцати километрах по Владимирской дороге.

«Но знаете ли, как исторически примечателен этот сад, из которого поднялись наши путешественники? Он произ-

ведение великого Петра; многие деревья посажены его державными руками; тут есть место, где он отдыхал после трудов; он любил этот сад и вспомнил о нем незадолго до своей кончины — он говорил, что водные сообщения доведены им до того, что можно сесть в лодку на Неве, а выдти с Яузы в Головин сад. Несмотря на это, несмотря и на то, что этот сад есть лучший в Москве — он совершенно публикою забыт»,— горестно заключает составитель книжечки о первом воздушном путешествии из Москвы.

В «Программе для развлечения высокопочтенной публики» описывается народный праздник коронования в Москве 8 сентября 1856 года. На этот раз вместо гондолы Бергу служил распростерший крылья орел, на котором воздухоплаватель стоял в древней одежде и с короной на голове. К программе приложены гравюры, изображающие его шар во время других полетов: воздухоплаватель то в корзине под раскрывшимся зонтом, то стоит на деревянной лошади с флагом в руке. Кстати, в программе сказано, что у Берга было четыре ученика: Август Леде, балетный артист, француз; Джузеппе Тардини, бывший вольтижер, итальянец; Антонио Регенти, бывший архитектор, австриец, и Александр Дикарев, молодой русский. Все четверо в разное время погибли.

Я закономерно присоединил к этой программе первого воздушного путешествия из Москвы и программу первого синематографа, открытого в 1903 году в пассаже Солодовникова под названием: «Тауматограф. Гигантская не мелькающая фотография». В программе, состоящей из четырех отделений, две комедии: «Испорченный костюм» и «Неожиданный душ», катастрофа с воздушным шаром, большой морской бой, относящийся к русско-японской войне, и три хирургические операции профессора Дуаэна. В антрактах музыкальное исполнение на пневматическом пианисте-виртуозе «Ангелюс-оркестраль».

Так, забытые и давно затерянные программы или приглашения на то или иное празднество помогают восстановить быт и то, что составляло предмет познаний или развлечений минувших поколений. Мне кажется, что это неоценимый материал. А разве первое воздушное путешествие из Москвы не может войти в историю воздухоплавания или, проще говоря, в историю героических дел человека?

«Литературные заметки»



«Всякий экземпляр должен быть подписан мною для избежания контрфакций» — и подпись автора: Хризостом Бургардт. Книжка с такой последней страницей носит название «Литературные заметки. Сочинения Хризостома Бургардта. Москва. 1858. Типография Штаба Резервов Армейской Пехоты».

На моем экземпляре есть надпись: «Редкость. В справочных изданиях не значится. Этого автора у Венгерова не указано».

Действительно, имени Хризостома Бургардта нигде не встретишь, а между тем он является одним из страстных апологетов славянофильства. Питомец Московского университета, ученик Т. Н. Грановского, Бургардт неистово нападает на увлечение французской или английской литературой, доказывая все преимущества славянских авторов. Перечисляя бывших питомцев Московского университета — Фонвизина, Богдановича, Новикова, Кострова, Карамзина, Жуковского, Гнедича, Грибоедова, Тургенева,— автор восклицает: «Мне нужды нет до Байронов, Шиллеров, Гёте, Флорианов, Беранже, когда у нас есть Мицкевич, Пушкин, Поль, Красинский, Мальчевский, Жуковский, Лермонтов и множество других. Нисколько не позавидуем иностранцам — Теккереям, Дюмасам, Сандам, Сю и проч., когда у нас есть свои Гоголи, Тургеневы, Аксаковы, Крашевские, Корженевские, Малэцкие, Вильковские и т. п. ... В нас есть все дарования, все способности... Если бы мы любили свое, родное, если бы мы были сыновья своей страны, если бы мы живо представляли колыбель нашу... то не ездили бы так жадно за границу, не обогащали Французов, Немцев, Итальянцев, Англичан, а себя и своих, не бросались бы на Фран-

цузские, Английские, а читали Польские, Русские, Чешские и тому подобные произведения. Нет! у нас литературный патриотизм, Славянофильство на словах».

Кто был по национальности этот Хризостом Бургардт, еще более радикальный, чем самые правоверные славянофилы, неизвестно, как неизвестно, почему он боялся, что кто-нибудь может воспользоваться текстом его книжки, и снабдил каждую собственноручной подписью.

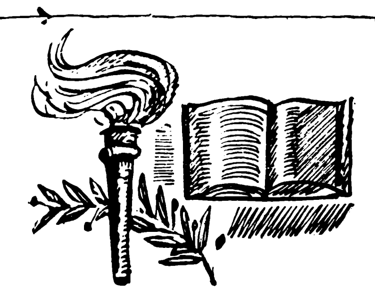
Примером другой весьма редкой книжки такого же рода может служить вышедшая в 1839 году в Москве «История одной книги» Н. Мельгунова. Суть книжки заключается в том, что некий литературовед Кениг выпустил в Германии книгу под названием «Литературные картины России» («Literarische Bilder aus Russland»), в которой весьма изрядно досталось издателю «Северной пчелы» Булгарину. «Северная пчела» первая восстала против меня и против книги г. Кенига,— пишет автор.— Выходка меня удивить не могла. Не мог удивить и ее тон: это был обыкновенный тон газеты, от которого ей не отвыкать же на старости лет... Не повторяю здесь обвинений газеты... приведу лишь одно наивное замечание противника, которое достаточно обозначит дух его критик. «Нас удивляет еще и то, — говорит он,— какой это сердитый г. Мельгунов; и за что это он сердится особенно на Булгарина».

Мельгунов в своей брошюре доказывает, что не является соавтором Кенига, он только помогал ему разобраться в явлениях русской литературы. Один из сторонников Булгарина — некий критик Менцель,— разбирая книгу Кенига, писал: «В книге Кенига сказано, что Булгарин подражатель Лесажа и Жуи и что его знаменитый, столько раз изданный и переведенный роман «Иван Выжигин» есть его худшее произведение. Такое страстное порицание может быть объяснено разве тем только, что роман Булгарина изображает темную сторону русской жизни... Иначе показалось бы непонятным, каким образом в ряду русских поэтов именно т о т и заслужил порицания, кто всех верней и живее изобразил русские нравы и обстоятельства и поэтому-то сделался вне России самым народным изо всех русских писателей. Творения, подобные превосходному Ивану Выжигину, вообще не могут быть оценяемы с одной литературной или эстетической точки зрения».

Если бы не подпись Менцеля, можно было бы предположить, что это Булгарин писал сам о себе; впрочем, возможно, он приписал Менцелю от имени третьего лица такую свою характеристику: это вполне в нравах Булгарина, и редкая книжка Н. Мельгунова, подобно книжке Хризостома Бургардта, приоткрывает страничку из литературного прошлого.

КНИГА БЕССМЕРТНА





Немцы были изгнаны из Умани, и на улицах города вплотную, без разрыва, стояли брошенные ими в бегстве автомашины, бронетранспортеры и танки. В городе еще пахло гарью, тем звериным душным запахом, какой оставляют после себя бегущие массы людей, и вонью гниющих продуктов: в грузовиках стояли бочки с огурцами и капустой и лежало несколько зарезанных, в спешке даже не освежеванных коров.

На одной из улиц сквозь разбитое окно нижнего этажа я увидел груды сваленных на полу книг. Вид книг всегда волнует меня, и я зашел в помещение, в котором сразу по стеллажам определил библиотеку. Никого в помещении, казалось, не было, только вглядевшись, я увидел скорбные фигуры двух немолодых женщин, разбиравших в соседней комнате книги. Часть книг уже стояла на полках. Я подошел к женщинам, и мы познакомились: одна оказалась учительницей русского языка Зинаидой Ивановной Валянской, другая — библиотекаршей районной библиотеки Юлией Александровной Панасевич, а книги, лежавшие на полу, они перетаскали из подполья, где книги проле-

жали всю оккупацию. Я взял в руки одну из книг — это оказался учебник экономической географии, но, перелистав несколько страниц, я с недоумением обратился к титулу книги: содержанию он никак не соответствовал.

— Работа нам предстоит немалая,— сказала одна из женщин.— Дело в том, что по приказу гебитскомиссара Оппа мы должны были уничтожить все книги по прилагаемому списку,— и она достала из ящика целую пачку листков с тесными строками машинописи: это был список подлежавших уничтожению книг.— Мы переклеивали со старых учебников и разных других книг заглавные страницы, и нам удалось спасти почти все, что подлежало уничтожению,— добавила женщина с удовлетворением.— Так что не удивляйтесь, если том сочинений Ленина, например, назывался руководством по вышиванию.

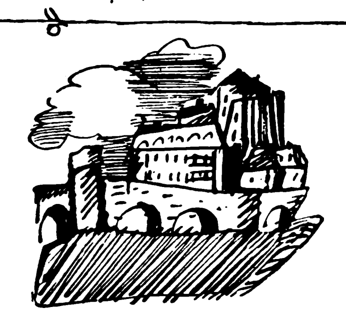
Это было действительно так: две мужественные женщины спасли целую районную библиотеку, вклеивая в подлежавшие уничтожению книги другие названия или вкладывая их в другие переплеты. Теперь они разбирались в своих богатствах, ставили книги на полки и восстанавливали то, что по распоряжению назначенного директором библиотеки Крамма они должны были разорвать на клочки.

В Умани, в помещении районной библиотеки, я убедился в бессмертии книги.

Это ли не лучший рассказ о руках, которые умеют не только листать страницы книг и заносить в картотеку названия, но и сделать книгу символом бессмертия. Библиотекарши в Умани спасали не одни лишь книги, они спасали, может быть, сами даже не сознавая этого, идею человеческой свободы, выраженную в Слове.



НА РОДИНЕ ВОЛЬТА



Итальянский городок Комо был некогда римской крепостью. В наше время в нем производят бархат и шелк, а также машины и резиновые изделия. Городок этот — тихий, на берегу поэтического озера Комо — является родиной римского писателя Плиния Младшего и одного из основателей учения об электрическом токе — Алессандро Вольта. Но однажды его дремлющую историю нарушила современность, и вот как это произошло.

В Комо в 1927 году, по случаю столетия со дня смерти Вольта, была устроена небольшая международная выставка, вблизи которой по вечерам зажигался гигантский ликторский пучок — эмблема фашизма, утверждавшего в те годы, что фашизм является символом цивилизованного мира, а в Советской стране попрана всякая культура и в ней царит средневековое варварство.

На выставке в Комо был, однако, и русский отдел, в котором представлены были изделия наших кустарей, палехские шкатулки, фарфор и, между прочим, книги. Фашистская печать утверждала, что книгопечатание в России стоит на самом низком месте и в ней издают лишь пропагандистскую литературу.

Я пришел на выставку с двумя итальянскими журналистами, которые предполагали посетить Советский Союз и очень заинтересовались одним из его граждан, к тому же писателем: писатель в их понимании не имел ничего общего с тем, чем заставляют заниматься литератора в Советской стране.

— Скажите,— спросил меня один из них,— это правда, что писатели в Советской России пишут только на те

темы, которые им раздаются правительством? Это правда, что писатели состоят на жалованье, и сколько вам платят в месяц? На какие специально пропагандистские темы вы пишете ваши книги?

— Знаете,— сказал я,— здесь на выставке есть русский книжный отдел. Там вы можете посмотреть наши книги и, кстати, наглядно убедиться в том, что мы действительно состоим на жалованье и пишем на заданные нам темы. Ведь гораздо лучше посмотреть все это, чем я буду вам об этом рассказывать.

Журналисты согласились, и мы, миновав залы с электрооборудованием, прошли в книжный отдел. Книги были выставлены на стеллажах, и любую из них можно было взять в руки и перелистать.

— Вот, не хотите ли взглянуть,— предложил я,— мы совсем недавно, в 1924 году, выпустили в двух томах «Орлеанскую девственницу» Вольтера в переводах и под редакцией замечательного поэта Михаила Лозинского.

Я достал со стеллажа два монументальных, отпечатанных на слоновой бумаге, с двумя десятками фототипий, тома.

— Вольтера? — спросил один из журналистов.— Но почему именно у вас выпустили Вольтера?

— Да так, захотелось, видите ли... неплохой писатель, между прочим.

Журналист недоверчиво взял один из томов и прежде всего посмотрел на год выпуска.

— Вероятно, это издание было начато еще до революции,— сказал он с сомнением.— Нам хорошо известно, что у вас нет бумаги и все ваши типографии находятся в ужасном состоянии. Впрочем, для выставок обычно не жалеют затрат,— добавил он, как бы намекая на то, что мы пускаем пыль в глаза.

— Может быть, вам понравятся эти фототипии, их, кажется, около ста в книге «Алмазный фонд СССР»,— предложил я.— Она выпущена тоже в 1924 году. Или, может быть, вас заинтересует «Версаль» Александра Бенуа с иллюстрациями автора?

Потом я предложил журналистам перелистать нечто более близкое им, именно перевод книги Бернсона «Флорентийские живописцы Возрождения», вышедшей в 1923 году, «Историю фаянса» Кубе, выпущенную в том же году,

«Искусство негров» В. Маркова, напечатанную уже в немыслимом для их понимания 1919 году, и, наконец, гравюры на линолеуме «Италия» В. Фалилеева.

— Видите, ваши сведения в некоторой степени правильны... все это заказывает государство. Кстати, у нас есть издательство «Всемирная литература», основанное М. Горьким, там представлены литературы всех народов, в том числе большое место отведено и Италии.

Потом мы обошли другие отделы, где были выставлены книги не только по искусству, и так как Государственное издательство дало мне с собой несколько книг для подарков, я подарил моим спутникам два волюма — сейчас не помню, что это было,— отпечатанных на такой отличной бумаге и с такими цветными репродукциями, что журналисты даже не нашлись что сказать.

— Ваши современные издания можно уподобить пушке «Берта»,— сказал мне один из них с откровенностью,— вы бьете издалека и такими снарядами, что придется пересмотреть многое в нашем представлении о современной России.

Он не мог найти что-либо более образное, чем пушка «Берта», бившая в первую мировую войну по Парижу с расстояния в несколько десятков километров: в ту пору еще не было ракет.

Я нередко вспоминаю эту маленькую книжную выставку в Комо. Советская книга выходила на мировой простор. Она утверждала славу нашей культуры и нашего книгопечатания, одной из важнейших составных частей культуры. Она била в цель, наша книга, и снаряды ложились точно, как точно ложатся ныне наши ракеты. Только для нашей книги не приходилось выбирать географические квадраты. Милан, Лейпциг, Париж — она повсюду появлялась на международных выставках, наша книга, пробивая иногда такие бетонированные сознания, которые, казалось, ни один снаряд не пробьет.

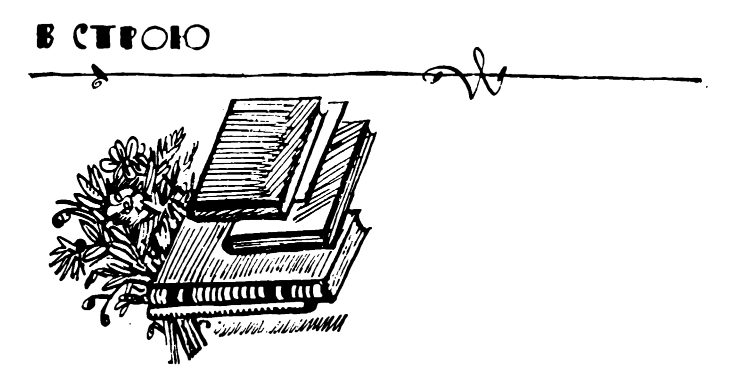
— А чему вы удивляетесь? — спросил старейший московский книжник Иван Иванович Сытин, сын известного издателя И. Д. Сытина, когда я рассказал ему об этой встрече с советской книгой в Комо.— Книгой можно мир взорвать, а не то что кого-нибудь распропагандировать, вроде ваших итальянцев.

Его лицо стало вдруг хитрым, он нагнулся и достал с нижней полки в закутке товароведки какую-то большую,

тщательно завернутую книгу. Потом он развернул ее, и я увидел, что это первое издание сожженной книги Джордано Бруно «Del infinito, universo e mondi» — «О бесконечности, вселенной и мирах» — книга, которая действительно взорвала мир в свою пору. Экземпляр этот находится ныне в одном из наших книжных хранилищ.

— Это вам не Комо,— добавил Иван Иванович наставительно, поглаживая книгу примерно тем же движением, каким оглаживают надежное оружие: недаром Иван Иванович Сытин слыл испытанным охотником.

В СТРОЮ



История переплетного дела, как бы ни были искусны во множестве случаев переплетчики, включает в себя и печальную повесть о том, как именно переплетчики в такой степени искажали в прошлом первоначальный вид книги, что и не представишь себе, какой она была по выходе из типографии. Книги, выходившие в восемнадцатом столетии и почти во всей первой половине девятнадцатого, почти целиком оседали в дворянских и помещичьих библиотеках. Нередко у помещиков были свои переплетчики из крепостных, мастера и большие искусники.

Мы любуемся и поныне переплетами восемнадцатого и девятнадцатого веков, переплетами, в которые книга была как бы вмурована и которые поистине с византийской роскошью украшали книжные шкафы из красного дерева. Но искусным переплетчикам никто не преподавал законов сбережения книги: они меняли формат книг, обрезая их с трех сторон примерно на палец от текста, срывали об-

ложки — нередко с гравированными рисунками, и почти не осталось книг, изданных в прошлых столетиях, в их первоначальном виде в отношении формата, и особенно с печатными обложками.

Истинные любители книг особенно дорожат сохраненной обложкой: печатные обложки первых изданий книг Пушкина не только отличны одна от другой, но и оттеняют прелесть наборных типографских рамок, скажем, «Полтавы» или «Евгения Онегина». Не знаю, сохранились ли какие-нибудь сведения, каков был истинный формат «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева после выхода из типографии; сохранившиеся экземпляры известны только в обрезанном виде. Размер книги определялся в ту пору тем, как сложится лист, и большие поля переплетчики непременно срезали. У меня есть, например, для сравнения два экземпляра «Новых повестей Н. Ф. Павлова», вышедших в 1839 году: один — в том виде, в каком он вышел из типографии, другой — в переплете; если поставить их рядом, то они разнятся по размеру, как, скажем, автомашины «Волга» и «Москвич».

Искусные переплетчики во Франции, переплетая для любителей книги, не обрезают их и сохраняют не только переднюю и заднюю обложки, но вплетают и срезанный бумажный корешок, чтобы сохранить все особенности книги. У меня, увы, немало книг, пострадавших от руки переплетчика: с полуотрезанными авторскими автографами и даже с пострадавшим текстом. Я вспоминаю, как даже опытный и предупрежденный мной переплетчик отмахнул наполовину автограф на одной из первых книжек Я. П. Полонского «Несколько стихотворений», вышедшей в 1851 году в Тифлисе: он оправдывался тем, что книжка показалась ему непомерно длинной.

Обрезальный нож в руках переплетчика — опаснейшая гильотина для книги. Многие редкие книги столь изуродованы переплетчиком, что просто потеряли для собирателя ценность. Нож переплетчика должен в лучшем случае лишь подчистить срез, но не искажать произвольно формат книги. Обложки при переплетании нужно непременно сохранять, как переднюю, так и заднюю: на передней обычно кроме надписи бывает еще и рисунок, да и надпись обычно сделана рукой художника-графика, на задней же проставлена цена, которая существенна для книговедческих целей. Все это главным образом относится к

старой книге. Современная книга выходит из типографии обычно уже обрезанной и в переплете, но массовые издания выпускаются в бумажной обложке, и обложки эти нужно непременно сохранять при переплетании книги.

Книга А. Чехонте (А. П. Чехова) вышла в 1886 году в издании журнала «Осколки» с иллюстрированной обложкой работы Ф. Шехтеля, а «Невинные речи» в издании журнала «Сверчок» (1887) с обложкой работы Н. П. Чехова. В обеих обложках есть своеобразие эпохи, а обложка к «Невинным речам» интересна еще и тем, что она сделана братом Чехова — художником. У меня есть эти книги, но без обложек, и я всегда жалею об этом. Только самая первая книжка А. Чехонте —«Сказки Мельпомены»,— вышедшая в 1884 году и подаренная мне литературоведом Н. А. Роскиной, у меня с обложкой — бледно-зеленой с типографской рамочкой; сохранена и задняя обложка с обозначенной посреди округлой виньетки ценой в 60 копеек, и когда берешь в руки эту книжку, то всегда думаешь, что она побывала, может быть, в руках и у самого Чехова.

Искусству переплетать книгу сопутствует и искусство ее беречь. Как-то на нескольких своих книгах я обнаружил свежий след работы книжного червячка. Это было бедствие, которое могло погубить ряд других книг. Сейчас существуют способы химической обработки книг, применяемые в больших библиотеках. Способы эти, конечно, самые надежные, но если червячок заведется в одной или даже нескольких книгах, есть и домашний способ, как с ним бороться. Я делал так: расковыряв кончиком иголки ход, можно подцепить на острие личинку вредителя, если она близко; если это не удастся, нужно втереть во все дырочки ходов порошок «дуст», плотно завернуть книгу в бумагу и оставить ее так на неделю. Потом, сдув порошок, следует каждую дырочку обвести карандашом для проверки, не появится ли новая дырочка; если останутся лишь обведенные карандашом дырочки, значит, действие червячка прекратилось.

Я пишу об этом обстоятельно, как даются хорошие домашние советы; а в остальном, чтобы сберечь книгу, нужно охранять ее от солнца, на лето закрывать книги на полках бумагой, и за все эти малые заботы о них книги отплатят вам своим долголетием: они долго будут радовать ваш

взгляд и служить вам, не утомляясь от времени. Кожаные корешки и углы нужно хотя бы раз в год слегка промазать белой мазью для обуви и протереть мягкой тряпкой: кожа ссыхается, и ей нужно питание. Это тоже один из заветов сбережения книги. Молодым книголюбам эти советы пригодятся. Даже такой испытанный книголюб и собиратель, как Иван Никанорович Розанов, обладатель бесценной библиотеки по поэзии, поинтересовался раз, как сберегать книги, и удивился примитивной простоте ответа, продиктованного личным опытом.

Я полагал, что уместно было дать эти, малые практические советы в книге, озаглавленной «Друзья мои — книги»; о друзьях ведь всегда следует особенно заботиться.

КЛАДОВАЯ РАЗУМА



Словацкий писатель Петер Илемницкий, автор многих социальных романов, был большим другом нашей страны. Его книги «Поле невозделанное» или «Хроника», посвященная героическому восстанию словаков против оккупантов в 1944 году, были переведены у нас. Илемницкий был нежным, глубоким человеком и трогательно любил книгу.

Однажды в Москве, уже после войны, когда Илемницкий работал во Всеславянском комитете, он сказал мне:

— Я знаю, что вы дружите с книгой. Не поведете ли вы меня в какую-нибудь из кладовых разума, где можно найти что-либо из старинки.

Мне понравилось определение магазина старой книги как кладовой разума, и я повел Илемницкого, помнится, и в Книжную лавку писателей, и в букинистические магазины, где работали старейшие и уважаемые книжники Алексей Григорьевич Миронов и Александр Сергеевич Бурдейнюк, съевшие на своем веку, по образному выражению, добрый десяток пудов книжной соли. Какую-то книжку в этот наш совместный поход купил я, а одну книгу в букинистическом магазине иностранной книги под «Метрополем» буквально с жадностью ухватил Илемницкий.

Мы завершили нашу книжную вылазку за столиком в одном из кафе.

— Я расскажу вам, какую роль сыграла книга в моей жизни,— сказал Илемницкий,— и почему книжка, которую я сегодня купил, так взволновала меня. Когда-то я редактировал коммунистическую газету «Правда бедноты» в Банска-Бистрице и Остраве. Однажды в редакцию пришел какой-то простой человек, оказавшийся рабочим спичечной фабрики, и вручил мне одну старую книжку, оставшуюся после его отца. Это была поэма нашего словацкого писателя Андрея Сладковича «Детван». Я поблагодарил рабочего за его подарок, поэму эту я давно любил, в ней Сладкович хорошо передал обычаи и чувства простых людей Словакии. Во время войны, когда гитлеровцы засадили меня в концентрационный лагерь, у одного из заключенных нашлась эта поэма Сладковича, мы читали ее совместно, и она очень помогала нам. А теперь в Москве, столице страны, которая освободила Чехословакию, я встретился в третий раз с этим томиком Сладковича. Как же не восхищаться книгой, которая связана со столькими воспоминаниями!

Книга, которую купил Илемницкий, оказалась именно поэмой Андрея Сладковича «Детван», изданной в 1853 году, кажется, в Братиславе, где ныне на кладбище Славин, высоко над городом, неподалеку от могил советских воинов, павших в борьбе за освобождение Словакии, находится урна с прахом умершего 19 мая 1949 года в Москве Петера Илемницкого. Мне привелось побывать на этом кладбище и поклониться могиле моего словацкого друга.

— Запасы знаний в таком количестве заключены в книгах,— сказал Илемницкий в тот день, когда мы вместе

ходили по московским книжным магазинам,— что эта кладовая разума никогда не может быть исчерпана, для этого не хватит не только одной человеческой жизни, но и жизни многих поколений, как мы это видим на примере судеб ряда книг. Вы так любите книги, что, наверно, когда-нибудь будете писать об этом чуде... помяните тогда мою находку, помяните о том, как мы вместе с вами побывали в кладовой разума. А знаете, между прочим, нам приходилось в лагере прятать «Детван», чтобы тюремщики не отобрали у нас книжку, и с этим тоже связана целая история. Вообще о «Детване», может быть, и я когда-нибудь напишу. Сладковичу, конечно, и не грезилось, какую роль может сыграть когда-нибудь его поэма. Да и ни один писатель не может представить себе судьбы своей книги, это навсегда останется «Pole neorané», сколько бы его ни вспахивали критики и знатоки литературы.

Больше Петера Илемницкого я не встретил. Он умер, прах его перевезли в Словакию, у меня осталась лишь книга Илемницкого, именно «Pole neorané» с его надписью мелким женственным почерком; но недавно, будучи в Праге, я нашел книгу Андрея Сладковича «Детван» и купил ее. Словацкого языка я не знаю, но дело не в этом. Я поставил эту книгу рядом с книгой Илемницкого, они соседствуют ныне: книга старого поэта была другом Илемницкого в самые трудные для него годы, и пусть они будут рядом, пусть кладовая разума обогатит читателей еще одной находкой, хотя и скромной, но глубокой по своему духовному и сердечному смыслу.



ТО, ЧТО БЛИЗКО



Любить книгу — значит неизменно общаться с ней. Мы прочитываем за нашу жизнь, в разные годы каждый раз по-новому, «Войну и мир» Льва Толстого или рассказы Чехова. Мы расстаемся с ними на время, но они возвращаются к нам, когда у нас возникает потребность общения с ними, и сколько бы ни было таких встреч, они всегда глубоки и значительны.

Есть собиратели, которые подбирают только редкие книги или книги лишь по одному вопросу, и хорошо, что такие собиратели существуют. Наши основные библиотеки именно им во многом обязаны своим богатством: собрание Черткова по «россике» или собрание книг историка И. Е. Забелина составляют один из фондов Государственной исторической библиотеки, а сотрудники в библиотеке имени В. И. Ленина в Москве, или в Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, или в библиотеках Пушкинского дома и Литературного музея с признательностью назовут имена десятков собирателей, обогативших своими уникальными собраниями эти книжные хранилища.

Но если говорить о собирательстве в широком смысле, то собирать, конечно, книги надо не по признаку их редкости, а по тому, что́ близко и нужно, что́ хочешь всегда иметь рядом с собой. Собирательство без разбора означает простое коллекционерство, с единственным желанием побольше и понаряднее набить книг на полки.

Я никогда не гнался за количеством книг. Я даже разочаровывал некоторых, полагавших, что у меня большая библиотека. У меня небольшая библиотека, но она состоит из книг, которые по той или иной причине мне близки или



А. В. Симаков

нужны для работы; в частности, именно благодаря некоторым из них я написал эту книгу.

Ни разу, кстати, не помышлял я писать о книгах. Меня не побуждали к этому и чужие примеры; я просто радовался им, но все же, поразмыслив как-то, решил, что если знаешь кое-что о книгах, почему бы не рассказать об этом? Почему бы не обратить, так сказать, в книжную веру еще десяток-другой молодых книголюбов, заразить их примером собирательства, вдохновить на трудное, но несомненно увлекательное дело?

Мне всегда грустно видеть старых знатоков книги, которые никому не передали своего опыта. «Вот стал я стар, стал плохим работником... и как обидно, что ни одного ученика не оставил, не на кого порадоваться»,— сказал мне как-то знакомый старый книжник. Я помню, как печалился П. П. Шибанов, что один из бывших его учеников так и не стал хорошим знатоком книги по недостатку необходимых для этого качеств.

— Деревяшка,— определил Шибанов скучающе,— ничего не впитывал.

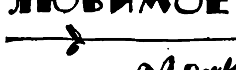
Он зато глубоко ценил и любил другого своего ученика — Рафа Карповича Карахана, работавшего вместе с ним в «Международной книге», а затем в книжном отделе московского Дома ученых. Карахан не только знал книгу: он учился у Шибанова и науке о книге, составляя любовные и почти вдохновенные описания для каталогов. Карахан принадлежал к числу бескорыстно преданных книге людей, и не один московский ученый, без сомнения, помянет добрым словом этого вечного хлопотуна по книжным делам и приятнейшего, образованного человека.

Обращая взгляд в сторону своих книжных полок, мысленно продолжаю я историю книг, связанную с судьбами писателей; не всегда эти судьбы благополучны, имена некоторых писателей иногда забыты, и всегда радостно извлечь из забвения эти имена, напомнить, что и самые скромные литераторы прошлого были деятелями литературы, создавали карту звездного книжного неба, на котором именно созвездия и определяют величие светил.

Глядя на свои книги, вспоминаю я и старых букинистов, помогавших мне советом и опытом: я никогда не забуду старейшего книжника Александра Михайловича Михайлова, полуослепшего, поднимавшегося ко мне на

четвертый этаж едва ли не наощупь, с единственным желанием, чтобы редкая книжка осталась в верных руках. Не забуду я и Алексея Васильевича Симакова, унаследовавшего от своего отца, славного собирателя народных песен В. Симакова, глубокую преданность книге. Портрет А. В. Симакова висит в Книжной лавке писателей рядом с портретами писателей, и, думая о Симакове, я всегда вспоминаю традиции близкости книгопродавцев к литераторам, идущие еще с пушкинских времен.

Окружающие тебя книги всегда должны быть такими, чтобы, обратившись к книжным полкам, иметь все основания сказать: «Друзья мои — книги» и услышать от них воображаемое ответное признание: ведь биография книг есть в то же время и биография того, кто собирает их.



ЛЮБИМОЕ



У меня, как и у многих читателей, есть свои любимые книги. Они не в футлярах и не в дорогих переплетах, они не значатся в справочниках как «редкость» или «редчайшая». Они просто близки мне, сердечны по своей чистоте и необходимы по внутренней значимости.

Много лет встречался я мимоходом с одним тихим, молчаливым человеком, мы раскланивались с ним и расходились в разные стороны. Я его близко не знал; знал, что это писатель, некоторые его рассказы читал, они мне нравились. А потом этот писатель умер; умер как-то незаметно, в разгар войны, и вот вышел том его избранных рассказов, и Андрей Платонов глубоко вошел мне в душу каким-то своим сердечным, необычайно нежным и мудрым отношением к людям, которые стали героями его рассказов. С опозданием, как это нередко случается, я с горечью подумал, что недостаточно знал этого отличного писателя.

Но у писателя остаются книги, и им нередко дано стать друзьями читателя уже на вечные времена. Я только недавно узнал, что Эрнест Хемингуэй назвал имя Платонова среди имен тех писателей, у которых он учился писать, и порадовался признанию Платонова, ставшего близким не мне одному... Почти то же самое мог бы сказать я и о рассказах молодой, рано умершей английской писательницы Кэтрин Мэнсфилд, рассказах трогательных и глубоких, написанных под влиянием Чехова.

С книгой М. Горького «Рассказы 1922—1924 гг.» для меня связано воспоминание о ветреном вечере в Сорренто, о большой тревожной душе старого писателя, подарившего мне эту книгу в своем пустынном большом кабинете, за окнами которого уже несколько дней подряд сирокко раскачивал ветки деревьев с золотеющими плодами апельсинов... Книга, однако, близка мне не только благодаря этому воспоминанию и не только потому, что на ней есть надпись Горького: в ней помещен один из его лучших рассказов — «Отшельник», который я впервые прочел именно в Сорренто, радуясь силе и богатству русского языка.

«Стефан Цвейг, находящийся в настоящее время в путешествии, просит извинить его, что в этот раз он не может послать свою книгу лично».

Так звучит по-русски текст, напечатанный на карточке, вложенной в одну из книг Цвейга и присланной из Вены издательством, выпустившим эту книгу.

Я берегу эту книгу не меньше, чем другие книги Цвейга, присланные им лично. Книга эта вышла в ту пору, когда в Австрии уже слышался стук сапог гитлеровских солдат, когда Цвейг в последний раз прошел по дорожкам своего сада на горе Капуцинов в Зальцбурге и простился с ним навсегда, отправившись в последнее странствие, завершившееся трагическим финалом его жизни... Книги иногда раскрывают большее, чем в них написано: они хранят в себе смятение чувств и жгучую тайну самого автора; перифраз названий книг Цвейга в данном случае не только уместен, но и напрашивается сам собой.

Мне дороги и другие книги Цвейга не только потому, что они связаны с личностью этого большого писателя и глубоко сердечного и нежного человека, которого я знал. Они дороги мне тем, что дарили меня читательскими радостями: я не преувеличу, сказав, что, например, рассказ



Стефан Цвейг на книжном развале в Лондоне

Цвейга «Лепорелла» стоит в одном ряду с «Простым сердцем» Флобера.

Неизменно ощущаю я, как взволнованных собеседников, книги Александра Малышкина «Севастополь» и «Люди из захолустья». Тот, кто захочет прочесть одни из самых правдивых страниц о первых днях революции, о становлении нового мира, пусть обратится к книгам Малышкина: их искренний голос встревожит не одно молодое воображение, и книги Малышкина станут надежными спутниками не для одного из читателей.

Есть книга, похожая на сгусток человеческих страданий и вместе с тем на сгусток воли и мужества: «Репортаж с петлей на шее» Юлиуса Фучика. Эта книга — страдалица, но она и победительница. Она продолжает историю книг замученных и загубленных, просиявших, однако, из стен заточения, презревших насилие и указывающих человеку его путь.

Так к вечным спутникам — книгам классиков — присоединяются и книги современников, и чем шире по внутреннему ощущению этот круг, тем богаче и

библиотека собирателя. Именно любимые книги определяют путь собирательства, и они и составляют его ценность.

После смерти Белинского И. С. Тургенев приобрел его библиотеку не только с целью помочь вдове Белинского, но и потому, что хотел сберечь круг самых заветных друзей Белинского — его книги. В тишине тургеневского музея в Орле, где ныне находится библиотека Белинского, читаешь не только повесть о дружбе Тургенева и Белинского, запечатленную в книгах с золотыми буквами «В. Б.» на корешке, но и повесть о сохраненном в материальном выражении духовном мире великого критика...

Чехов год за годом посылал книги в городскую библиотеку Таганрога, уверенный, что дружба с книгой является основой внутреннего роста человека. Книголюб А. М. Горький всего за несколько дней до смерти прислал в Книжную лавку писателей список нужных ему книг, в их числе были «Вогульские сказки» и «Наполеон» Е. Тарле. В Самаре, в Публичной библиотеке Петербурга, в библиотеке Румянцевского музея в Москве, в Берлинской императорской библиотеке, в библиотеке Вольно-экономического общества, в книжном хранилище Юдина в Красноярске, в библиотеке Британского музея в Лондоне, в библиотеке имени Куклина в Женеве, в Национальной библиотеке в Париже, в библиотеках Кракова, Берна, Цюриха — всюду побывал неутомимый читатель В. И. Ленин.

Даже из ссылки в Шушенском Ленин пишет в 1897 году сестре Анне Ильиничне Елизаровой:

«Если поедешь за границу, то сообщи, и я тебе подробно напишу насчет книг оттуда. Посылай мне побольше всяких каталогов от букинистов и т. п. (библиотек, книжных магазинов)». В воспоминаниях Н. К. Крупской проникновенно рассказано о пристрастии к книге В. И. Ленина, учившего любить, ценить и уважать книгу как непременного спутника каждого просвещенного человека.



МОЛОДЫМ СОБИРАТЕЛЯМ



Что же,— скажет молодой собиратель,— так ведь можно без конца рассказывать, от одного приключившегося случая к другому.

— Разумеется, я бы мог, наверно, еще рассказать и о других случаях,— ответит автор этой книжки.— Встречи с книгами всегда бывают так или иначе случайны, в таком сложном, тонком и увлекательном деле систематика нередко подвержена колебаниям, и если я заканчиваю эту книгу, то не потому, что мне нечего больше сказать, а потому, что я уже достаточно сказал. Я не собирался писать занимательные истории для легкого чтения,— для этого у меня нет ни времени, ни желания. Я хотел пробудить интерес к книге, к ее увлекательной, иногда и поныне неразгаданной истории. Я хотел побудить любить книгу, ценить, уважать и собирать ее.

Собирать книги не означает собирать непременно редкие, особенные книги. Ведь можно составить отличное собрание книг наиболее полюбившихся советских писателей, или собрание путешествий, или собрание «Жизни замечательных людей», и тогда развернется целая галерея страстных, благородных судеб — от Коперника, Леонардо да Винчи, Ломоносова до Юлиуса Фучика, Муса Джалиля и Патриса Лумумбы, о котором, конечно, в свое время будет написана книга. Можно собирать книги о научных открытиях, и тогда ряд великих первооткрывателей завершат имена Сеченова, Павлова, Мичурина, Циолковского до наших современников,— необъятен мир собирательства книг, необъятна их тематика и необъятны открытия, которые предстоит сделать молодым книголюбам на пути их

странствий по книжному морю, полному неведомых островов, неразведанных глубин, необследованных земель... Ведь даже в обследованном, кажется, до конца географическом мире и поныне происходят удивительные открытия наших полярных исследователей в Антарктиде, или на дрейфующих льдинах вблизи Северного полюса, или на острове Пасхи, о котором так увлекательно рассказал Тур Хейердал в своих книгах «Путешествие на Кон-Тики» и «Аку-Аку».

В тридцатых годах на далеком берегу Амура, в нанайском стойбище, учитель Андрей Иванович Актанка подарил мне нанайский букварь «Новый путь». Он подарил мне эту книгу в ту пору, когда в нанайских стойбищах только строили первые школы и когда судьба маленького, трагически вымиравшего в царской России народа разительно менялась на глазах.

— Пусть этот букварь останется у вас как книга о жизни нашего народа,— сказал мне тогда учитель.

Я увез с собой букварь просто как памятку о Дальнем Востоке. Но, встречая затем те или иные сведения о нанайском народе, я стал вклеивать в букварь газетные вырезки то о героических делах нанайцев-снайперов во время минувшей войны, то об организации нанайского театра, то о первых нанайских поэтах, и букварь, действительно, разросся постепенно до целой книги о жизни маленького народа, как это и предвидел учитель, подаривший мне букварь.

Обогащая так книгу, обогащаешь неоценимыми сведениями и самого себя. Среди моих книг есть, в частности, поистине уникальные экземпляры, обогащенные собирателем Л. Э. Бухгеймом, вклеившим в них не только газетные вырезки, но и редкие фотографии, и сделавшим тем самым, например, совсем не примечательную в библиографическом отношении книгу «Герцен» Ч. Ветринского подлинной редкостью.

Все труды и дела человека, все его открытия, всю его пытливую мысль и искания отражает прежде всего книга, и это и побудило меня написать о книгах, о малых открытиях собирателя, его встречах с книгой и его находках.

От первых дней книгопечатания книга волнует человека. Ее судьбы богаты, величественны, иногда трагичны и горестны, но на всех своих путях и при всех обстоятельствах книга служила и служит человеку — от восковых дощечек, папирусов и древних свитков на пергаменте...

— «Прощайте, друзья! — сказал он, глядя на библиотеку»,— так записал доктор Шольц слова умирающего Пушкина. Книги для Пушкина были одушевленными существами: он и прощался с ними, как с живыми спутниками своей жизни, дарившими ему наибольшие радости.

Вспомним обращенные к книге и слова М. Горького:

«Когда у меня в руках новая книга, предмет, изготовленный в типографии руками наборщика, этого своего рода героя, с помощью машины, изобретенной каким-то другим героем, я чувствую, что в мою жизнь вошло что-то живое, говорящее, чудесное...»

Когда-то для пополнения своих средств «ссудно-сберегательная касса служащих Т-ва М. О. Вольф» выпустила брошюрку под названием «В обществе королей мысли» с подзаголовком: «На память любителям книг изречения и афоризмы». Отбросим пышное название брошюрки, извлечем из нее только одно стремительное по своей силе изречение: «Книга дороже мне престола»,— лаконически возвестил великий Шекспир. Он был прав: престолы рухнули и ушли в небытие вместе с теми, кто восседал на них, книги Шекспира остались. Хорошие книги никогда не стареют, им даны вечная молодость и обновление во времени, они — живой организм, воздух, без которого не может жить и развиваться человек.

Так бы я ответил молодому читателю, спросившему у меня, для чего я написал эту книгу.



СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Германович Лидин

ДРУЗЬЯ МОИ — КНИГИ

Редактор *Г. И. Куйбышева*
Художественный редактор *В. П. Богданов*
Технический редактор *З. Н. Малек*
Корректоры *А. И. Басов* и *Б. М. Северина*

Сдано в набор 23/VIII 1961 г.
Подп. к печати 4/VIII 1962 г.
Форм. бум. 84×108 1/32. Печ. л. 6,125 (Условных л. 10,05). Уч.-изд. л. 9,79. Тираж 75 000 (2-й завод 25 001 — 75 000) экз. А07922.

«Искусство». Москва, И-51, Цветной бульвар, 25.
Изд. № 18962. Зак. тип. 2151.

Первая Образцовая типография имени
А. А. Жданова
Московского городского совнархоза.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.

Цена 50 коп.

50 коп.